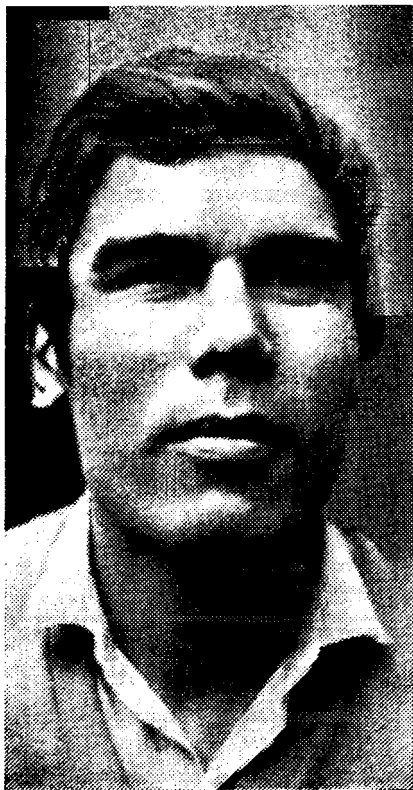


писатели МОЛОДЫЕ писатели

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“. 1970



**ТИМУР ПУЛАТОВ**

**РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ**

**ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАИПА**

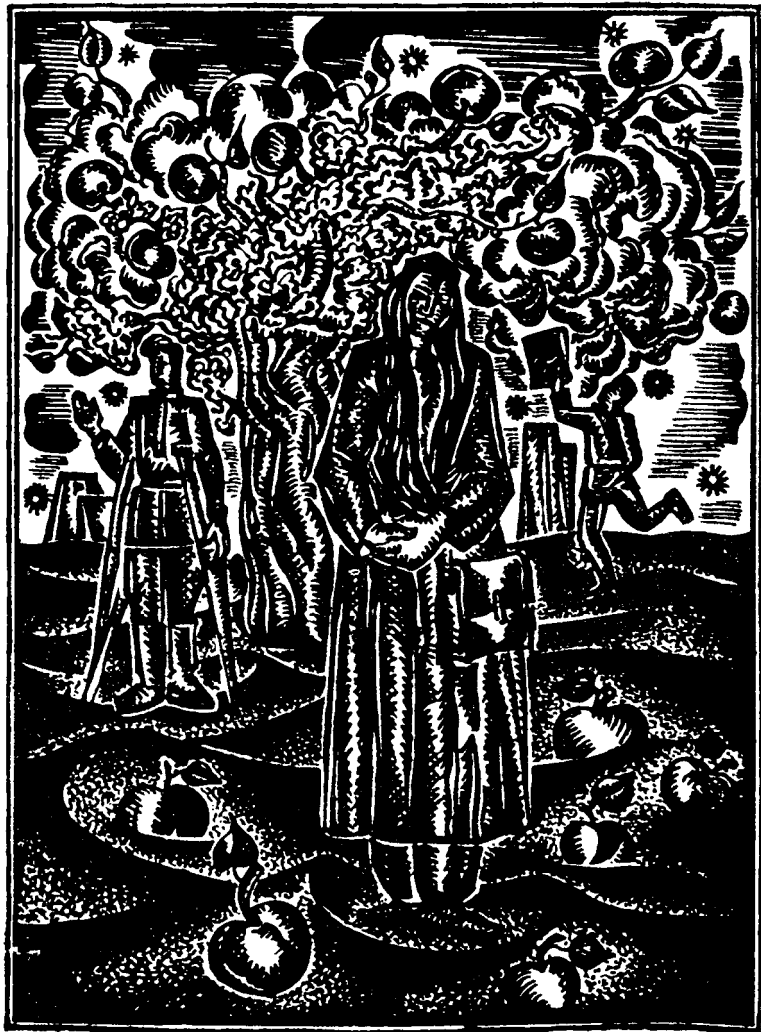
С(узб)2  
П—88

*Художник А. Добрицын*

7-3-3

**ТИМУР ПУЛАТОВ**







людям моего возраста нравится воображать, что они относятся к военному поколению. Для этого у них масса веских причин. И самая веская та, что они помнят первый день войны.

Правда, вовсе не важно, что процентов пятьдесят из них встретило этот исторический момент, сидя на горшке, а остальные пятьдесят — криками в мокрых пеленках. Но это не беда: главное, из рассказов мам и бабушек твердо усвоить, чем ты занимался в тот день 22 июня, и этого вполне достаточно, чтобы причислить себя к так называемому военному поколению...

Если бы всем им установили персональную пенсию, я бы ни шиша не получил. Просто потому, что я не помню первого дня войны. Он почему-то не врезался в мою младенческую память, и, сколько бы я ни изощрялся в красноречии перед комиссией, которая устанавливает пенсии, меня бы выставили за дверь.

Войну я помню с ее сорок первого дня — но за это ведь ничего не дали бы!.. Итак, сорок первый день войны...

Я — Магди. Первого сентября мне будет недоставать каких-то десяти дней до семи лет, и из-за этого меня, наверное, не возьмут в школу. Это моя самая большая беда в жизни.

Мама — врач. У нее всегда такой вид, будто на свете все хорошо и чудесно. Может быть, оттого, что все вокруг только и говорят: мама моя самая красивая, самая-самая милая женщина на нашей улице.

Папа. Дедушка считает, что его со дня на день должны запрятать в тюрьму. Потому что, как выражается старик, папа «страшно либеральничает» с подчиненными. Папа у меня маленький начальник. У него десять человек рабочих, которые только и знают, что целыми днями торчат на столбах и возятся с лампочками.

Дедушка особых заслуг не имеет. Живет в деревне и растит очень вкусные дыни. Он очень смешной и немножко хитрый. О нем можно еще много кое-чего рассказать. Но рассказы эти я приберегу до следующего раза.

Бабушка когда-то была его женой, но она умерла. И перед смертью просила, как можно меньше вспоминать о ней, чтобы ей было спокойнее лежать в земле.

Еще у меня есть дядя, которым я горжусь. Он далеко, на войне, и когда война кончится, он вернется, и мы снова будем сочинять с ним песню... «На веселых, на зеленых, на Азорских островах...»

Наш дом. У нас три маленькие комнаты, где каждый из нас спит отдельно, и одна большая. Зимой там очень холодно и пусто, а летом мама вешает на стену ковер, которому двести лет, и достался он нам по наследству от прапракакой-то там тетки. На ковре двести дыр, как будто кто-то нарочно



31 декабря каждого года сверлит на нем дырочку. Но все равно от этого ковра в комнате становится уютно и красиво.

И еще летом в этой комнате в углу стоит сундук, а на нем до самого потолка штук тридцать одеял. И никто никогда не берет их оттуда, просто они лежат для красоты и ждут, что когда-нибудь к нам разом нагрянут тридцать гостей, и всем будет на чем спать.

Одно только плохо — все окна у нас выходят во двор, и нельзя поглядеть, что творится на улице. Наш двор вроде замка из сказки «Али-баба и сорок разбойников» — все наглухо отгорожено от посторонних глаз четырьмя высокими стенами: попробуй сунься — нос сломаешь! И не только у нас — у всех соседей наших такие слепые и глухие дома. И сколько бы ты ни бегал и ни искал дом с глазами в нашем городе, могу поспорить — не найдешь.

Можно, я не буду рассказывать о нашей улице? Я никогда не говорю о том, что мне не нравится. И вообще, почему я должен рассказывать обо всем по порядку? Смешно!

О соседях тоже не буду рассказывать. Они люди взрослые, пусть о них рассказывает домоуправ. Он-то расскажет, будьте уверены. И про сплетни, и про ссоры, и кто на ком женился, и кто кого обозвал дураком бухарским.

Расскажу-ка я лучше о своих сверстниках. На улице у нас шесть... нет, семь девочек моего возраста и два мальчика, если отнять меня. Девочки с мальчиками не дружат — родители не разрешают. Говорят, так в коране написано, чтобы женщины не дружили с мужчинами, не баловались и не играли с ними. А так как мы маленькие мужчины, то нам нельзя играть с маленькими женщинами.

Ребят, как я уже говорил, только двое, не считая меня. Одного из них, Бахрама, я видел всего два раза. У него грыжа, и он редко выходит на улицу. А со вторым, Кадыром, я дружил и подрался. Он называл моего папу трусом и дезертиром и сказал, что папа боится идти на войну, в то время

как его отец — герой: рубит саблей направо и налево головы немцам. Я ему начал объяснять по-хорошему, но он, дурак, все твердил одно. Тут я не выдержал и так огрел его, что у него под глазом загорелся фонарь. А он, как девчонка, поцарапал мне нос. Ну как после этого называть его другом, если он даже драться по-человечески не может?

Война. Война для меня темный лес. Везде только и слышишь — война, война, но никто не может толком объяснить, что это такое. Все было просто и хорошо, и вдруг начали убивать друг друга. Испортили всем настроение и жизнь. Люди стали нервными и сердитыми. Никто не улыбнется, не скажет ласкового слова. Все помешались на войне.

И чуть-чуть о взрослых. Я их не совсем понимаю, но думаю, что они народ хороший. Плохо только, что придумали войну...

...Итак, сегодня сорок первый день войны...

Проснулся я сразу, как только солнечный блик подкрался к моему левому глазу и начал щекотать его. Осторожно поднес руку к лицу, поймал блик в кулак и, сложив пальцы в трубочку, стал рассматривать солнце. Синие, красные, желтые иголочки лучей запрыгали у меня в руке.

И вдруг я увидел в трубочке черное пятно, испугался и вскочил. Что-то щелкнуло в кровати, потом в комнате, и из маленького репродуктора на винограднике вырвался наружу властный голос отца:

— На зарядку становись! Руки на бедра, ноги вместе, начали...

— Куда ты? — услышал я голос мамы. — Ну-ка, не отлынивай от зарядки!

Я выскочил на улицу, крепко захлопнув за собой дверь.

Черное пятно оказалось головой почтальона. Письмо! Письмо! Нам письмо, как это хорошо, как я люблю, когда к нам приходит почтальон с добрыми вестями!

...Вот тогда-то я впервые увидел твоего отца, Марат.

Он стоял, опустив сумку на землю, и вид у него был такой грустный...

— Где дядя? — спросил твой отец, как-то странно улыбаясь.

— На войне... Письмо от него? Давайте, я не потеряю.

Вместо ответа он потянул меня к себе и начал гладить по голове. Я отступил — что за нежности?

— Мальчик, — сказал твой отец, и голос его я помню по сей день, — скажи маме, что, понимаешь, у всех, у многих сейчас несчастье — война, война... И не плачь, мальчик, будь мужественным. Страшная немилость на нашу голову, будь она проклята! — и подал мне бумажку, одну из тех, которые мы с тобой, Марат, называли потом «черными бумажками».

Но тогда я не понимал, что она черная. Я подумал, что это самая обыкновенная записка от дяди с войны, где он пишет: «Все хорошо, мои дорогие, мы идем, идем по дорогам и лесам России, я смотрю на небо, на деревья, на деревни, и все здесь так же, как пять лет назад, когда я служил в армии. Оно не покоряется войне — небо России, и сколько бы его ни жгли, оно такое же голубое и чистое...» — так дядя писал в прошлом письме.

Я зажал бумажку в кулак и как ни в чем не бывало вернулся во двор. Репродуктор давал последние приказания:

— ...теперь глубокий вдох и выдох — раз, два, три...

— Куда ты пропал, Магди? — спросила мама строго. Она стояла на лестнице, срезала с виноградника синие ягоды в поднос.

— Я... ничего, просто...

Походил вокруг виноградника и, когда стало скучно, протянул маме бумажку.

— Письмо от дяди. Я первый взял его. Дашь мне за это несколько, совсем мало, копеек для камеры?

Мама развернула бумажку и вскрикнула:

— О! — как будто порезала себе садовым ножом руку. — Анвар! Анвар! — Лестница закрипела под ней.

— Я здесь, дорогая. Что случилось? — Папа выбежал из комнаты в одних подштанниках, подхватил плачущую маму на руки.

Что случилось? Почему мама вдруг заплакала?

— Фархад, Фархад, о!

Папа разжал маме руку, взял бумажку, и глаза его побежали по буквам.

— Смертью храбрых, — услышал я. — Смертью...

Вдруг папа тоже весь сжался, стал маленьким и несчастным.

— Он умер? Фархад умер? — спрашивала мама.

— Смертью храбрых, — услышал я снова голос папы и только теперь понял, что с дядей, с моим дядей, случилось что-то ужасное, до того ужасное, что папа и мама уже не могут больше говорить и смотреть друг на друга, на меня, будто мы втроем убили его, моего дядю...

...Это значит, что мой дядя, — глаза которого, руки, лицо, всего его я вижу так отчетливо, будто он рядом, будто он стоит, как всегда, веселый, красивый, молодой и очень добрый, будто он берет меня на руки, подбрасывает на самый верх виноградника, хохочет, а я боюсь и плачу; будто мы ловим с ним рыбу, а рыба не ловится, а он сидит тихо-тихо, не шелохнувшись, а потом как засвистит, заулюлюкает, бросит прочь, к чертям, удочки, хватает меня и — в воду, и сам ныряет следом, и мы барахтаемся в воде, счастливые, веселые, такие родные; дядя, с которым мы выдумывали тысячу смешных историй, ужасных и страшных историй, про кошек с человечьими лицами, про деревья-змеи, пели песенку: «На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах; говорят, что там живет трехголо-

вый кашалот, сам играет на гитаре, сам танцует, сам поет...»; он, этот дядя, мой родной дядя, больше не придет, не будет играть со мной, и петь, и танцевать, и смеяться, он ушел навсегда туда, в леса, и будет, как в той сказке, ходить невидимкой и стучать палкой по соснам и слушать, как по стволу идут с неба вниз звуки; он очень любил эту страну, Россию, мой дядя, вот он и ушел туда от всех — и от меня, и от мамы, и больше никогда-никогда, сколько бы я его ни звал: «Дядя Фархад, идем ко мне, дядя Фархад, идем ловить рыбу, прыгать и радоваться», — он никогда не вернется, никогда... Чем же я его обидел, что же мы сделали плохого, что он навсегда ушел от нас, мой дядя, мой любимый дядя?..

— Не надо, маленький, не плачь, — сказала мама, обняв меня, и слезы ее часто-часто закапали мне на голову.



Какой лютой ненавистью я возненавидел твоего отца, Марат, как я боялся его, ты представить себе не сможешь! Несколько ночей подряд он снился мне в обличье самых страшных зверей, какие только могут быть. Я проклинал его во сне, дрался, царапал ему лицо, бороду.

Бедный отец твой, таким, наверное, представляли его все, кому он приносил черные бумажки смерти. Теперь мне понятно, отчего он вскоре так жестоко и надолго заболел...

...Спустя три дня он снова просунул голову в наши ворота, я сидел один под виноградником и очищал кишмиш для плова — ведь сегодня были дядины поминки. Тихим чмоканием губ — тиц, тиц — отец твой позвал меня.

— Ну, чего же ты? Не бойся, это не смерть... На! — подал он мне снова бумажку, бумажку без конверта, не письмо.

И, пока я стоял, ничего не соображая, он, рассерженный и нервный, толкнул меня в дом и захлопнул за мной дверь.

Я не мог идти. Мне казалось, что он толкнул меня не в наш, а в чужой дом, где меня ждет что-то ужасное.

Отец подошел совсем неожиданно, неизвестно откуда.

— Чего ты испугался, мальчик?

Я протянул ему бумажку и убежал в сад за виноградник. Кругом было тихо-тихо, как ночью, и страшно.

Папа прочитал бумажку, резко дернул рукой, как будто его ужалила оса, засунул руку в карман и позвал меня:

— Магди! — И, когда я подошел к нему, шепотом сказал: — Ничего страшного, — и еще тише: — Это мне... повестка на фронт... Но маме пока ни слова.

— Да, папа.

— Умница.

— Да, папа.

— Ну, не надо, мальчик. Выше нос, до облаков, как Буратино, помнишь?

— Да, папа.

— Ладно, идем-ка вместе перебирать кишмиш.

Мы сели за стол, посередине поднос.

— Но ведь тебя не убьют, как дядю Фархада? Ты вернешься к нам из лесов?

— Не кричи так громко!.. Буду стараться, малыш...

— А убивать? Ты убьешь кого-нибудь, и он не сможет вернуться к своим из лесов. Убьешь?

— На войне обычно один из противников должен остаться в лесах, — сказал отец, и я ничего не понял.

Тогда я еще многого не понимал, Марат, и мне было простительно.

Третий день дядиных поминок я уже не мог вынести — дядя сам, наверное, перевернулся в гробу от диких воплей. У меня закружилась голова, и меня вынесли во двор на свежий воздух и уложили возле виноградника.

Какие же они дикие, бессмысленные и ханжеские, эти наши родные мусульманские обряды, Марат! Да что объяснять,

ты ведь и сам мог вполне узнать о них, когда умер твой отец. Помнишь толпу ревущих старух? И хоть бы одну слезинку выдавили из своих беззастенчивых глаз ради приличия! Нет, они просто режут час, два, целый день и следующий день, как марионетки, которых кто-то сзади тянет за резинку. А в перерывах жрут плов, аккуратно, со вкусом, облизывая жир с пальцев. И снова режут, поглядывая одним глазом на дверь, чтобы не прозевать очередное блюдо.

Я знаю, маме совершенно не нужно все это, весь этот обряд, все эти вопли и крики. Но ведь, когда, не дай бог, кто-то умирает в вашем доме, покойник уже не ваш. Он полностью попадает в руки старух. Не спрашивая вас, они штурмуют ваш дом и начинают реветь и пожирать все, что попадется им на глаза. Попробуй только косо посмотреть на них — ужас! Тебя будут проклинать весь век и называть неверным, а это самое худшее клеймо; так что лучше не надо.

...В самый разгар поминок приехал дедушка. Обессиленный, я дремал у виноградника, когда услышал его крик:

— Нора, дурная твоя голова! Что за рев ослиц?

— Тише, умоляю тебя. Ведь не могу же я их прогнать.

— А что Анвар? Что он спрятался, как трусливый страус? Не можете — я сам прогоню. Покойник неизвестно где, мы его в глаза не видели. Может, Фархад и не умер вовсе, а они крик подняли. Гнать!

— Умоляю, отец, не надо. Что потом будет?..

— Знаю, что будет. Прикрываясь святым именем бога, они здесь театр устроили. Не нужен богу весь этот спектакль, покойнику тем более. Ханжи и ослицы! — И дедушка вбежал в комнату, расталкивая старух. — Что же вы, уважаемые, так долго гостите у нас? Поели разок — и хватит! И где это в коране, на какой его странице, сказано, чтобы поминать умершего, не видя его самого? Вон! Долой с глаз! Хватит! И смотрите не захватите с собой чужие галоши...

Потом дедушка пришел ко мне, закрыл меня всего бородой

и поцеловал. От него приятно пахло дынями, клевером и кислым молоком.

— Боже, что сделали с моим мальчиком! На нем лица нет.  
— Здравствуй, — сказал я как можно бодрее. — Как дела?

— А у тебя?

— Как видишь, лежу... Страшно смешной ты, милый де-душка. Такого смешного я нигде еще не встречал. Как они там? Без задних ног бежали?

— Вообще без ног, внучек. Перебросили ноги за шею и бежать. Ха-ха!

— Хо-хо!

— Хи-хи!

— Скажу тебе что-то на ухо: папу забирают на войну.

— Знаю. Он звонил мне в кишлак. Я сразу на ослика и сюда. Ничего, не расстраивайся. Вернется мужчиной.

— Как тебе не стыдно?

— А тебе не стыдно? У всех отцы воюют, только твой за маминной юбкой ореши щелкает.

— А если, если его...

— Если, если! Вставай, хватит лежать.

— Не кричи на меня, я больной. И вообще, ты злой человек, нехороший.

— Это ты ослиц имеешь в виду?

— Нет, вообще...

— Что, прикажешь бороду теперь рвать на себе? Если бы только его одного. В кишлаке у нас одни женщины остались, да и те одурели от слез. Каждый день две-три вдовы и десять-двадцать сирот. Война, братец мой, людоедство. Недаром в коране написано: «...и разделится род людской, и начнется между ними людоедство...»

Потом меня уложили в постель и приказали спать. Уснул я сразу, но ночью просыпался много раз, потный, ворочался



в постели и вздыхал, пугался теней и снова уходил в забытье. Не то во сне, не то наяву я слышал плач мамы, тихие голоса отца и бабушки и снова плач. И так всю ночь. И еще я никак не мог понять, во сне это или наяву видел все время черных птиц на деревьях, какие-то непонятные тени, зигзаги красных и синих пятен и светлые горящие точки между ними.

А утром я уже понял — все это было во сне, а плач мамы и голоса отца и бабушки наяву. Когда я проснулся, мама еще спала, и отец сказал, что она уснула лишь полчаса назад, а мужчины вообще не спали.

Я смотрел на мамино лицо и думал: каково теперь будет ей? Хотя мама скрывает, но я-то знаю, что она и дня не может прожить без папы. Папа для нее все. Он делает для нее то, чего не делает ни один мужчина для своей жены, по крайней мере на нашей улице. Он сердится, нервничает, когда она много стирает и устает, волнуется, когда она где-то задерживается. Бойтся, что она поскользнется и упадет, когда идет снег, что кто-нибудь обидит и обманет мою наивную, ничего не смыслящую в жизни и людях маму.

Им обоим нравится быть такими — маме парить где-то в облаках, оторванной от суеты и забот, а папе, наоборот, почувствовать себя сильным, волевым, очень земным, быть глазами и руками для мамы.

И я совсем не представляю, что же будет теперь с моей милой мамой. Бедная она, бедная...

Все случилось быстро и просто, будто отец собрался уезжать в обычную командировку. Пришли его друзья по работе, посидели, помолчали, выпили, а я бродил по двору, забытый всеми, и уже не помню, о чем я тогда думал. Помню только, что очень жалел маму и не знал, что теперь будет с нами. А потом все вышли во двор, и я очень испугался, когда увидел отца в старой одежде. Она делала его неуклюжим, похожим не то на монтера, не то на водопроводчика. На маму смотреть я боялся...

Отец поднял меня на руки и сказал:

— Ну, мальчик, нос до неба, как Буратино! Мы еще посмеемся, когда я вернусь, будь здоров!

Я старался улыбнуться отцу, но что-то сдавило мне щеки. Отец торопливо поцеловал меня в лоб, похлопал по плечу, сказал что-то, и все они вышли за ворота к машине.

Сели и уехали. Я побежал было за папой, но закашлялся от пыли и отстал.

Ну ладно, ладно, не надо распускать нюни, никому это не нужно, и, пожалуйста, выше нос, как Буратино, пора уже быть мужественным: как-никак семь лет, тем более что на твоём попечении осталась мама; ерунда, ничего не случилось, он вернется, и мы еще не так посмеемся, будем хохотать до коликов в животе, правда, обидно, что тебя не взяли на вокзал, но это не страшно, тем более что ты будешь отвечать за все, и за дом в том числе...

Я вернулся во двор, постоял на том самом месте, где только сейчас стоял отец и держал меня на руках. Что-то щелкнуло рядом — и из репродуктора на винограднике вырвался голос моего папы:

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, ноги на ширину плеч, начали — раз, два, три, молодец, мальчик, продолжай в том же духе...

— Папа! — закричал я. — Папа, это все шутка, ты не уехал, нет... Пусть, — сказал я сам себе, — пусть он уехал, но все равно каждое утро мы будем слышать с мамой его голос, и нам станет легче. Я буду делать все, что папа прикажет, буду бегать, прыгать, перегибаться. И буду помнить его и любить...



Два дня мама не могла ничего делать, была какая-то потерянная, невнимательная. Лицо ее изменилось, стало некрасивым, и все потому, что она забыла, что она женщина

и надо немножко следить за собой, укладывать волосы и мазать щеки кремом. Ничего этого она не делала, ходила в своем длинном черном платье и уже не меняла платья, как прежде, штук по десять на день.

Она брала папины вещи, долго рассматривала, принималась целовать их и плакать.

Мы совсем растерялись с дедушкой — не заболела ли наша мама?

— Ну скажи ей что-нибудь, — просил я дедушку, — ведь она твоя дочь.

Он пожимал плечами, что-то растерянно бормотал, затем шел к ней в комнату и буквально через минуту выходил обратно ко мне, еще более подавленный.

— Что прикажешь делать с твоей сумасшедшей матерью? Ни в какую. Ну-ка ты, ведь ты ее сын...

И тогда наставляла моя очередь.

— Мамоchка, не надо, прошу тебя... Я буду тебя слушаться и не обижать, вот увидишь.

Она как-то невесело улыбалась, прижимала меня к груди и начинала целовать.

Ночью, когда она наконец засыпала, я прятал отцовские вещи, его брюки, пижаму, шляпу, уносил их в сад, за виноградник.

Потом мама пошла к соседке, у которой собрались в тот день все женщины, чьи мужья и сыновья были на войне, хорошенько выплакала все свои слезы и, вернувшись, сказала:

— Завтра открывается еще один госпиталь. И я пойду туда работать.

— Правильно, дочка, — сказал дедушка, — умница. Поработаешь немного, развеешься, потом можно опять сына воспитывать. А он пока потерпит.

— Нет уж, милый отец! Хватит ходить наивненькой, чистенькой, красивенькой женой. Все думала, пусть бы Анвар

уехал куда-нибудь на несколько месяцев, чтобы самостоятельно пожить. Все самой делать. Думать самой, падать и вставать самой... Вот он и уехал...

Ох, этот дедушка, дедушка! Он минуты не может без того, чтобы не сцепиться с кем-нибудь — энергии у него уйма, девать просто некуда.

Сегодня пятница, и в мечети полно мусульман — день Большой молитвы. В этот день лучше сиди под одеялом, заткнув уши — перепонки лопнут от их воя.

Дедушке совсем плохо, он вообще не переносит ни малейшего шума, а тут тысячеголосый монотонный вой, как в книжке о собаке Баскервиллей.

Дедушка сперва бледнеет, кусает губы от злости, затем, не выдержав, выскакивает на улицу.

Когда дедушка на улице, соседям-мусульманам лучше не показывать своих носов. Он обязательно подденет их каким-нибудь каверзным вопросом насчет бога и, не слушая их объяснений, говорит и говорит дальше. Моим дедушкой — сумасшедшим острословом, неверным — ночью пугают детей, если они капризничают. Стоит сказать, сейчас позовем дедушку Магди и он съест вас, как все дети засыпают от страха.

Сейчас он, широко расставляя кривые ноги, направляется к мечети. Полы его халата, как два куска знамени, колышутся на ветру. Мне весело — будет спектакль!

Мечеть похожа на громадный каменный ящик фокусника, на который посадили сову, вернее, ее голову с десятью глазами — проемами. И внутри этого ящика — старики. Изгибаются как куклы: то встанут все разом, то разом падают на колени и начинают целовать землю, будто там рассыпан сахар. Вкусно! И командует всем этим совсем молодой ишан Калантар, сын того ишана, который умер, проглотив во время сна шмеля. И теперь ишан Калантар, если он злой, обзывает всех

неверующих шмелями и в знак пожизненного траура отказался брать в рот мед, думая, что мед дают людям не пчелы, а шмели.

— Шара-бара! — Дедушка хлопает в ладоши. — Старые вещи меняю на мыло, шара-бара!

Какой грех кричать «шара-бара», когда столько достопочтенных мусульман беседуют с самим богом! Вдруг старьевщик с грязным бельем и мылом. В мечети ропот: шу-шу.

— Шара-бара! — кричу я. — Старые галоши меняю на новые.

— Старые чалмы на новые!

Боже, какой ужас! Но ничего не поделаешь, надо прерывать молитву и просить бога подождать с беседой. Калантар первым бросается к выходу и, ползая на четвереньках, ищет среди тысяч галош свои, с шелковой кисточкой. Начинается свалка. Каждый старается, воспользовавшись суматохой, схватить галоши поновее.

А мы удираем. Пролезаем через дыру в заборе, сворачиваем в переулочек, а оттуда уже виден наш дом. На всякий случай, как и в прошлый наш налет, закрываем ворота на засов и хохочем.

А вечером дедушка возвращается к себе в кишлак — дела, дела, хлопок цветет, — а ты тут сиди и жди его до следующего спектакля.

Жаль, что ты так мало знал моего дедушку, Марат! Это был человек, полный противоречий и загадок. В нем была мудрость и наивность нашего достопочтенного муллы Насреддина.

«Бог живет внутри каждого, — говорил старик, — о боге надо говорить тихо или вообще не говорить, носить его с собой, в своем теле, как дух. Ишаны и муллы не могут вместить в себя этот дух, потому что зарабатывают на боге».

Вот поэтому-то соседи считали его сумасшедшим, неверным, смеялись над ним и боялись его. А Калантар даже пригрозил, что не разрешит хоронить дедушку на мусульманском кладбище.

...И, когда он умер, наш дедушка, его похоронили совсем отдельно, на краю поля, где цвел хлопок, там, где он любил прилечь и помечтать.

А совсем недавно, когда с отцом были в деревне, мы не нашли холмика дедушки. Его сровняли и посадили кусты граната. И каждую осень, когда зреют гранаты, они падают и бьют старика. И тогда он снится всем нам...

С утра мама ушла работать в госпиталь, а я остался один на весь дом. Сначала слонялся из комнаты в комнату, рылся, не знаю зачем, в папином столе, перелистал наш семейный альбом и увидел там дядю Фархада, почти на каждой странице дядя, дядя, дядя. Одна из фотографий мне особенно нравилась. Дядя сидит на стуле под виноградником, а я у него на коленях.

— Здравствуй, дядя... Тебе еще не скучно без нас?

— Здравствуй, мальчик... Давай споем с тобой нашу песенку.

— Мне что-то не хочется сегодня петь, не сердись.

— Ну, прошу тебя, мальчик.

— Хорошо... «На зеленых, на Азорских...» Скажи, дядя! Дядя! Папа уехал на войну...

— «На веселых», ты пропустил «на веселых». Давай снова: «на веселых, на веселых, на веселых»...

Я бросил альбом, выбежал во двор, залез на виноградник, в свой домик из веток и листьев, и спрятался ...И вот тут-то я впервые и увидел тебя, Марат...

С грязными, взъерошенными волосами, в отцовском пид-

жаке до голых колен и с громадной почтальонской сумкой за спиной ты просунулся в наши ворота и крикнул:

— Хозяева, письмо!

Сумку твоего отца я узнал сразу, перепугался и решил ждать, не высовываясь из убежища.

— Эй, вам письмо! — И действительно вынул из сумки письмо, не черную бумажку, а письмо в конверте.

Я спрыгнул вниз и, на всякий случай сжав кулаки, пошел к тебе.

— Давай!

Ты строго осведомился:

— Как фамилия?

— Не твое дело.

— Тогда ничего не получишь. Может быть, ты вовсе не Нуров, а Буров.

Это меня взбесило. Я хотел было броситься на тебя, бить и кусать за все — за твоего отца, за черные бумажки, за то, что ты такой остолоп, но силы были слишком неравны. Ты был на голову выше, шире в плечах и, видно по всему, дрался неплохо.

— А кто же я такой? Или лучше спроси у своего папаша, какая фамилия была написана на той бумажке, которую он принес нам недавно.

Лицо твое изменилось при этих словах, с него мигом сошла спесь, и по всему было видно, что тебе стало стыдно за отца — за то, что он принес нам такую весть о дяде Фархаде.

— Не сердись, — сказал ты, — получай. Это, наверное, от отца. У него, наверное, все хорошо.

— Ты уверен?

— Конечно! Даю голову на отсечение. Уж я-то знаю, раз он сам написал письмо, значит, он живой и даже не ранен. Хочешь, я прочитаю тебе?

— Прочитай... Нет, не надо.

Мама обидится, если мы распечатаем письмо без нее.

— Нет, — сказал я, — не думай, я и сам лучше тебя читаю.

Ты не уходил. Потоптался, подул на ладони, будто они замерзли, и вдруг сказал:

— Давай будем дружить, хочешь? Со мной тебе не будет скучно. Я знаю много историй о ведьмах и колдунах. И еще у меня бывают интересные марки.

Вид у тебя был такой жалкий, умоляющий, словно от нашей дружбы зависело многое.

— А что, тебе скучно одному?

— Да нет. Просто ты мне сразу чем-то понравился.

Я подумал: интересно быть другом почтальона. Он будет мне самому первому приносить письма папы, рассказывать, где что делается. Но тут я испугался: что, если он принесет черную бумажку о папе, что тогда, Марат? Как мне на тебя смотреть? Мне ведь и убивать тебя жалко будет, потому что ты мой друг. Что мне делать тогда?

Ты догадался:

— Боишься, что я?..

— Нет, не боюсь. Этого не будет, правда?

— Из-за этого никто и не хочет дружить со мной...

А старые друзья стали мне врагами, потому что... потому что я приносил им такие бумажки... Но ведь я же не виноват! При чем здесь я, если взрослые убивают друг друга? При чем здесь мы?

— Нет, — сказал я, — я не боюсь. И мы будем дружить с тобой. Что бы ни случилось, мы останемся друзьями.

Вот так и началась наша дружба, Марат...

Мамы не было весь день до самого вечера. Я слонялся голодный по дому, до тошноты ел виноград и несколько раз натался по полу от колик в животе. Вот во что обошелся мне первый день маминной самостоятельности.



Я нервничал — мама меня совсем забыла, сама, навсрное, ест в госпитале вкусный суп и котлеты, а у меня от кислого винограда вздулся живот и вот-вот лопнет от обиды.

Много раз мне хотелось сходить к соседям, чтобы они прочли мне папино письмо, а потом я бы его порвал и выбросил, не показывая маме. Ведь папа, наверное, догадывается, что мама морит меня голодом, и поэтому не обидится. И вообще, он написал мне, а не маме. Если бы ей нужно было его письмо, она давно почувствовала бы, что оно пришло, и прибежала бы.

Я взял и заснул ей назло. Вначале спал и одним ухом прислушивался, не идет ли она, но быстрых маминых тук-так-тук-так все не было, а затем я уже перестал слушать.

Снился мне папа. Я увидел его лицо. Большое-ребольшое, как в кино. Просто лицо, и все. Папа ничего не говорил, а только смотрел на меня. Папа молчит — молчу и я.

— Что с тобой, мальчик? — услышал я голос мамы. — Чего испугался, весь дрожишь?

Я открыл глаза: мама пришла!

— Нет, я не дрожу. Папа ничего плохого не делал.

— Тебе снился папа? Ты кричал, как будто тебя бьют.

— Нет, никто меня не бил.

Странно: почему же я кричал во сне?

— Ты давно пришла?

— Успела только раздеться... Ой, как страшно! Не знаю, что делать. Я ведь все почти забыла...

— Ты хочешь есть, мама?

— Очень! Сидела в библиотеке, пока не закрыли. Прочла уйму книг, но все равно боюсь... Сейчас я нарву винограда, и мы поедем.

О! Я чуть не закричал, когда услышал о винограде. Но ведь и мама тоже ничего не ела, ее можно простить.

Наверное, я кричал во сне потому, что жаловался папе на свою голодную жизнь. Дурачок я, дурачок.

Мама съела полную тарелку винограда, а я одну ягоду, да и то меня чуть не стошнило.

— Вот письмо, — сказал я, — от папы.

— От папы? Чего же ты молчал? — Мама начала вертеть конверт. Потом немного успокоилась, распечатала накопец и стала читать.

— «Милая Нора, милые мои...» Ну, и так далее...

— Нора — это ты, понятно, — прерываю я маму, — а кто такие «и так далее»?

— Ну, это ты и дедушка.

— А!

«Пишу вам со станции Казалинск, где наш поезд стоит полчаса. Завтра утром мы будем уже в России, на той земле, которую мы будем защищать. Со мной едут такие же простые смертные, которые на время, а может быть, уже навсегда, оставили свои дома и меньше всего думали, что им придется когда-нибудь убивать, но что поделаешь — война!

Как все пришло неожиданно! И пройдет еще много времени, пока они привыкнут к своей новой профессии. А многие, может быть, так и уйдут, не привыкнув. Это те люди, которые всю жизнь выращивали хлопок и виноград и не слышали ни одного выстрела. А теперь едут выполнять самое трудное на земле дело...»

Дальше раз сто «милая Нора», «люблю», «целую», наставления, как жить, как есть, как ходить по улице, — на целых три года.

— Какой милый чудак наш папа, — сказала мама. — Как он неуклюже пишет о любви. Совсем не умеет писать.

## IV

Я понимаю — для мамы сегодня необычный день.

Через много лет я так же волновался, когда шел на свой первый в жизни урок. Ты, должно быть, помнишь, Марат?

Помнишь, после окончания института нас направили учительствовать в одну школу. Преподавать язык и литературу. Помнишь, в мой самый первый урок ты был свободен и, чтобы я не умер от волнения, решил сидеть в моем классе. Ты подбадривающе мигал мне с последней парты, а я стоял перед учениками и несколько минут не мог ничего произнести, хотя прекрасно знал, о чем надо говорить. Ученики стали посмеиваться, и от этого я еще больше струсил. Я уже собрался махнуть на все рукой и выбежать из класса, как вдруг поднялся ты, Марат, и сказал:

— Ребята, не волнуйтесь. Магди Анварович в спешке прихватил мои конспекты. И не может разобраться в моем ужасном почерке!

Ученики рассмеялись, я облегченно вздохнул и сказал свое первое в жизни учительское слово: «А ну-ка, доставайте тетради», — и все пошло нормально с этой минуты.

Вот так и у мамы.

«Но все будет хорошо, мама. Раненые любят тебя, я знаю, только не надо бояться», — думал я, сидя на самом верху виноградника. Раз в неделю я забираюсь сюда, чтобы посмотреть бесплатное кино. Наша улица — большой экран, а артистов хоть отбавляй. Спрячьтесь где-нибудь и наблюдайте, только чтобы вас не заметили. И вы увидите интереснейшие вещи.

Вот, например, каждое утро из ворот напротив выходит старикашка Сираж-бобо. Выходит, закидывает голову вверх и пристально смотрит в небо, будто увидел там летающего осла. Смотрит и все время безо всякой надобности подтягивает брюки.

Брюки он начал носить недавно, когда поступил сторожем на макаронную фабрику, и еще к ним не привык. Раньше, пока сын его не был на войне, старик нигде не работал и ходил в белых штанах. В них прохладно и удобно сидеть в чайхане.

И ходить в мечеть. Ведь повись в мечети в брюках — осмеют.

Стоит Сираж-бобо, смотрит в небо десять минут, полчаса, пока шея не задеревенеет, затем выдернет из ватника под мышкой комочек ваты, выдует из него сор и одним выдохом выстрелит в небо. И радостный следит за полетом ваты, подпрыгивает, машет руками. И так до тех пор, пока вата благополучно не застревает на дереве между листьями.

Отец объяснял, что у него такой возраст, когда хочется повторять все, что делал в детстве. Представляю, какой ужас будет со мной в его возрасте! С утра до ночи, как дурак, буду сидеть на винограднике и следить, кто куда пошел и зачем. Меня так и будут звать соседи: старый дурак на винограднике. Незавидная участь!

Или вот другое кино. Тоже соседи — дед и бабка. Они так похожи друг на друга, что до прошлого года я считал их близнецами. Но отец сказал, это муж и жена, и я долго не верил, как такие старые могут быть мужем и женой. Мне казалось, что муж и жена обязательно должны быть молодыми и писать, как супруги Буттенгот или Готтенгот, точно не помню, сказки о своей любви.

Деда зовут Мекка, а бабу Медина. И вот они появляются на улице, поворачиваются ко мне спиной и начинают глядеть на свои ворота и вздыхать, и плакать, и ворчать друг на друга. Боже, как постарели, потрескались их ворота, любимые ворота, молчаливые свидетели их молодости! Какая мерзкая штука эта жизнь, что не пожалела даже ворот — гордость рода, предмет зависти соседей и дальних родственников.

Ворота у них действительно великолепные, массивные и угрюмые, из самого крепкого дерева на свете — карагача, разрисованные, как ковер, узорами и ромбиками. Из рода в род передаются они по наследству, кочуют из города в город.

Мекка и Медина оказались на редкость плохими хозяевами. На их глазах ворота стали катастрофически сохнуть и трес-

каться, и, чтобы предотвратить дальнейшую гибель, каждое утро дед и бабушка чистят их керосином. Трут, ругаются, плачут, но все напрасно. На следующий день на воротах появляется новая трещина — жизнь, жизнь, ничего не поделаешь! Только одно немного волнует меня в этом кино: кому же после их смерти достанутся ворота, ведь наследников у стариков не осталось?!

У меня в запасе еще много картин, но обо всех рассказывать сразу не стоит — скучно будет. Тем более что внизу по улице идешь ты, Марат. Вид у тебя, дружище, очень печальный.

Встряхнись же наконец, выше нос, как Буратино! Но ты, оказывается, и не знаешь, кто это такой. В детстве у тебя были одни только выдуманные тобой и твоим дедом истории о ведьмах и колдунах и ни одной приличной сказки. А как нужны нам, дружище, сказки, чистые и светлые сказки — нам, семилетним и тридцатилетним, особенно тридцатилетним. Потому что без них, как говорил поэт, «нет житья... ни людям, ни зверям».

— Эй, Марат!

Только сейчас я заметил, что на тебе порвана рубашка.

— Дрался?

— Надоело все, Магди! Не могу больше. Каждый день черные бумажки — смерть, смерть, смерть... И будто я виноват.

Морщась, ты снял рубашку, и я ахнул — вся спина была в синяках.

— Кто тебя? Скажи, мы отомстим.

— Глупый. Я принес одному старику черную бумажку, а он начал бить меня палкой... А я стоял и не мог убежать.

— Так тебя убьют когда-нибудь.

Мы помолчали, и я сказал:

— Знаешь, что сейчас я... Слушай, отец мой дома, по-

нимаешь? Он совсем не на войне. Все думают, что он воюет, а он прячется дома.

— Поклянись!

— Серьезно. Идем. — И я заставил тебя сесть на кровать, потом в комнате раздался голос папы.

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, мальчик...

Ты был растерян, а я хохотал:

— Это мой отец, честное слово. Теперь ты веришь, веришь?

Но ты сразу понял, что к чему, и сказал:

— Кто это придумал?

Я-то знал, в комнате пластинка, где записан голос отца, и, как только встаешь с кровати, пластинка включается и начинает передавать приказы в репродуктор на винограднике, но я не мог объяснить тебе, понимаешь, не мог, потому что я не хотел верить, что это обыкновенная пластинка, а не живой, настоящий голос папы, который потом много-много дней поддерживал меня, и мне даже стало обидно и больно, что я показал тебе, раскрыл тайну своей сказки...

Ты, видимо, понял мое состояние, сказал:

— А я... я сразу поверил, что это твой отец. Я даже знаю, что, если ты спросишь у него что-нибудь, он ответит. Спроси-ка...



Я подумал, как будет приятно маме, если мы с Маратом придем за ней в госпиталь — уж очень она волновалась в первый день работы и сразу бы поняла, что и мы волнуемся вместе с ней.

Марат знал, где находится госпиталь, и мы пошли. Мне запрещали уходить далеко от дома — в улочках нашего города не мудрено заблудиться. И в тот день я впервые нарушил этот запрет.

Какой интересный мир открылся мне! Мы шли друг за другом, потому что только так можно было пройти по узким улицам. На каждом шагу мечеть — поднимаешь голову, а там голубая шапка с гнездами аистов, и от этих шапок и дома, и деревья, и люди — все кажется голубым, хотя на самом деле улицы угрюмые, безглазые, и никто не высунет голову и не скажет «здравствуйте!».

И вдруг, как что-то совсем чужое, возникло перед нами каменное здание с множеством глаз — в этом единственном тогда здании европейского типа через много лет я учился в институте, набираясь ума-разума.

— Что же ты остановился? — Марат толкнул меня к этому зданию, и я посмотрел из окна в надежде увидеть живых, настоящих раненых, людей оттуда, с войны.

— Туда нельзя, — остановила нас у входа женщина с красной повязкой.

— К маме, — сказал я, — она работает здесь.

— К маме тоже нельзя. Она занята.

— У них дом горит, тетя.

— А не врешь? — женщина схватила Марата за руку.

— Обманывает, — поспешил я признаться, зная, что мама упадет в обморок, если ей скажут: у вас пожар!

— Ах, врет! — Женщина принялась поучать бедного Марата, что-то говорить про взрослых, которые на войне, и про детей, которые занимаются враньем... Хорошо, что сзади нас протяжно загудела машина, и мы отскочили в сторону.

— Раненые, — шепнул Марат.

Из машины с большим красным крестом санитары начали вытаскивать носилки — одни, другие, третьи, седьмые... Я смотрел на них и ничего не видел, кроме ног, высохших, синих. Тебя, слава богу, не было среди них, отец, все чужое, незнакомое. А их несли, несли на носилках, с запахами крови, с запахами войны — мимо нас.

— Все, — сказала женщина с повязкой, — этого пока положите под деревом. Мест нет...

— Да вы что? Он очень плох. Он без сознания.

— Говорю вам узбекским языком — мест нет.

Его положили под деревом, восьмого, бедного, которому не хватило места, и мы медленно подошли к носилкам. Ветер откинул край простыни, и я увидел, отец, совсем худое, совсем безжизненное, страдальческое лицо человека, который чем-то был похож на тебя — такой же высокий и худой, но с широкими плечами, которые еле вмещались на носилках.

Он лежал, и губы его дрожали. Наверное, он никак не мог отогнать от себя картины войны: бегут, падают и умирают солдаты, раскалываются пополам деревья и небо.

Вдруг я подумал, что он должен обязательно знать тебя, отец. И дядю Фархада. Солдат этот шел с вами по лесу, по темному, запутанному лесу, и дядю убили, а его ранили, а ты бросился к нему, чтобы спасти. А тут еще снаряд. И что стало с тобой, отец?..

— Дядя, дядя! — стал звать его я, стал будить, чтобы он смог отогнать от себя прочь картины войны и сказать, что стало с тобой...

— Мальчик! Оставь в покое раненого. Иди домой. Мама твоя очень занята...

И мы ушли. Шли и молчали. Совсем забыли, что нас двое, не разговаривали, не смотрели друг на друга.

Долго, очень долго я сидел, ни о чем не думая, словно меня нет, улетучился. Потом начал ходить из комнаты в комнату, по двору и думать.

Наверное, он все еще лежит под деревом и смотрит картины войны, и ему больно и нехорошо. А жена его и дети ждут письма и совсем не подозревают, что он лежит сейчас под деревом, не знают и не могут прийти к нему, чтобы помочь.



И я побежал на кухню, стал резать, резать хлеб, мазать маслом. Завернул все это в газету. Решил отнести ему, чтобы он обрадовался. И ему станет хорошо-хорошо.

Но вот и мама. Я спрятал сверток и вышел ей навстречу.

— Поздравляю тебя, мама.

— С чем? Письмо от папы?.. Да, да, день прошел удачно. Но как я устала, ты даже представить не можешь! Зато восемь операций — восемь!

— Это мало или много?

— Это ужасно много для мирного времени, мальчик. Но сейчас... Один из врачей сделал двенадцать, и все удачные.

— У тебя сколько удачных?

— Будем надеяться, что все. Но одна была такая жуткая, как я волновалась!.. А зачем ты приходил в госпиталь, малыш?

— Просто мне хотелось поглядеть на тебя. Нельзя?

— Нельзя, маленький. Ты понял меня?

И, хотя я не понял, сказал:

— Да.

— Завтра у нас будет гость.

— Кто, мама?

— В госпитале очень тесно. Мы, врачи, решили взять к себе домой раненых.

— А зачем?

— Там им тесно.

— У нас в доме будет лежать раненый?

— Да, мальчик. И ты будешь помогать мне.

— Буду, мама. А ты уже выбрала кого? Ты знаешь его?

А ему у нас понравится?

— Я еще не выбрала. Не знаю, понравится или нет.

Но мы должны его вылечить.

— Я сделаю все, чтобы он вылезился. Ладно, мама?

— Хорошо, хорошо. Давай ужинать.

— Мама, давай возьмем его. Он лежит один под деревом. Ему не хватило места. Тебе ведь все равно. Я знаю, он будет хороший и послушный и не станет капризничать.

— Ладно, маленький. Мы пойдем вместе, и ты покажешь его.

— Он такой хороший! Такой славный! Мама! Мама! Знаешь, что я придумал? Сказать? Давай пойдем и возьмем его сейчас. Я прошу тебя...

И мы пошли в госпиталь. Он страшно удивится, когда узнает, что мы забираем его к себе. А вдруг он не захочет? Тогда я скажу маме, пусть она сделает ему укол, усыпит, и мы понесем его, а утром, когда он проснется, скажем, что мы не виноваты, так получилось. А потом ему у нас понравится и он согласится.

— Подожди здесь. Я узнаю сама, кто лежал сегодня под деревом, и заберу его.

Только бы мама не перепутала!

Мы угостим его хлебом, и маслом, и виноградом. А потом что будем с ним делать? Как лечить? Мама скажет как. А кто он — капитан, генерал, танкист, летчик? Хорошо, если он летчик, — я люблю летчиков. Есть ли у него ордена? Наверное, есть. Если бы он был трусом, он бы прятался и его бы не ранили. Что-то долго их нет. Неужели мама перепутала? Здорово же мы придумали взять к себе раненого, веселая пойдет жизнь! Ну и ладно, пусть я не пойду теперь в школу, надо ухаживать за раненым, не жалко. Жалко, конечно. Но раненый гораздо интереснее, чем школа.

— Мама!

Я бросился к носилкам. Взглянул — он!

— Он, мама!

Я бегал вокруг носилок, не зная, что же делать дальше. Но все решилось просто. Подъехала машина с большим

красным крестом, открылась дверца сзади, носилки всунули туда, мама крикнула: «Садись в кабину, Магди!», — и мы поехали, повезли нашего раненого, повезли к себе лечить его. Теперь он наш, и мы никому не дадим его в обиду. Все решилось просто и хорошо, а я боялся, нервничал.

Шофер был угрюмый дядька, молча крутил баранку, мне же хотелось петь, смеяться, прыгать, а он был такой важный и гордый, будто делает великое дело — крутит баранку и молчит. Я смотрел назад в белое окошечко, но ничего не мог увидеть. Мама там, все хорошо, и не надо волноваться.

А ехали мы очень медленно, как назло. Въезжали в какие-то узкие улочки, поворачивали обратно, царапали стены, на нас кричали, проклинали нас, а мы везли домой раненого: лечить его и возвращать к жизни.

И когда машина еле-еле проехала к нашему дому, выбежали все соседи. А я очень гордый выскочил из кабины, помог шоферу открыть заднюю дверцу. Люди придвинулись к нам, окружили, а мы, не обращая ни на кого внимания, торжественно понесли носилки к воротам.

— Боюсь сказать, милая Нора, неужто отец Магди? — спросила Медина.

— Нет, — ответила мама.

— Кто это, Нора?

— Раненый из госпиталя.

Мы внесли нашего раненого в комнату и уложили его. И, когда вышли попрощаться с шофером, соседи уже обсуждали это событие.

— А отец Магди? Если он узнает, что в доме чужой мужчина...

— Пусть это вас не волнует, — ответила мама и побежала обратно в комнату к раненому, сказав мне: — Не заходи пока...

Что это им не понравилось, соседям? Ладно, сейчас некогда об этом думать. У нас гость, у нас раненый в доме.

Добро пожаловать в наш дом, незнакомый дядя! Поверь, тебе здесь будет неплохо, ты быстро поправишься и сможешь снова идти на войну. Только смотри потом в оба, как бы тебя опять не ранили и не убили. Я буду плакать, если тебя убьют, плакать будет и мама, и все, все, кто знал тебя, тоже будут плакать. Будет плакать и колыбель, где ты рос в детстве, мячик, которым ты играл, подбрасывал его в небо к облакам, и книжки твои будут плакать, твои сказки, и твои самые первые туфли, которые ты надел, когда научился ходить, и речка, где ты купался, и яблоня, на которую залезал, и окно твое, и паук на окне тоже заплачет, будет плакать твоя мама, она поседеет и состарится...

Прошу тебя, возвращайся с войны живым и невредимым.

А пока ты наш гость, мы с мамой сделаем все, чтобы ты в один прекрасный день мог встать, улыбнуться и сказать — все в порядке. По утрам, когда мама уйдет на работу, я буду поить тебя молоком. И, хотя это очень неприятная штука — пить молоко, но пить его надо, потому что без молока ты быстро не поправишься. И еще я буду давать тебе лекарства. Ладно, так уж и быть, самые горькие ты сможешь незаметно выбросить под кровать, но остальные надо принимать обязательно.

Хочешь, я буду рассказывать тебе интересные истории, которые мы сочинили вместе с дядей Фархадом? И когда ты уже сможешь разговаривать, когда у тебя ничего не будет болеть, посмотрим, сможешь ли ты сочинить какую-нибудь историю. Я люблю людей, которые фантазируют и сочиняют истории.

Мама тебе понравится. Ты не бойся, если она иногда будет строга. На самом деле она добрая, и, уж раз ты попал в ее руки, она тебя вылечит.

Я расскажу тебе о папе. А когда он вернется с войны, вы будете дружить с ним, играть в шахматы. У папы мало хороших друзей, и он согласится дружить с тобой, не волнуйся.

Дедушка тебе вначале может не понравиться, он покажется тебе злым-презлым. На самом деле он любит пошутить, но ни в коем случае не ругай при нем деревню — тогда все, вы враги навеки.

Потом я познакомлю тебя с моим другом Маратом. Он будет приносить тебе письма твоих родных, и, если кто-нибудь обидит тебя, будь уверен, он заступится.

Если тебе понравится у нас, понравится наш город, ты можешь приехать сюда после войны. Ты будешь приходить к нам в гости, и мы будем сидеть и вспоминать: «А помнишь, когда?..» — «Конечно, помню...» — «А ты не забыл, как?..»

Все это я думал, дядя Эркин, в тот вечер, когда тебя привезли к нам в дом. Мама сказала, что будет делать тебе уколы, и запретила мне заходить в комнату, а ты лежал без сознания.

Мне надоело слоняться по двору, я подкрался к окну, встал на камень и чуть было не свалился, когда увидел маму, растерянную, плачущую. Она бегала по комнате со шприцем в руке, выбрасывала из тумбочки вату, бинты, флаконы с лекарствами, что-то говорила не то тебе, не то себе.

Я застучал по стеклу:

— Мама, можно я помогу?

Но она замахала руками и еще больше растерялась, забегала.

Видно, тебе было совсем плохо — машина укачала тебя, когда везла из госпиталя, и мама не знала, что делать.

Я хотел бежать на улицу, звать людей на помощь, но вместо этого ушел за виноградник и забился там в угол от страха.

И снова видел маму, куски ваты на полу, руки мамы на твоей спине и твою спину. Я зажмурился — так было страшно. Что они сделали с твоей спиной, дядя Эркин? О, эти изверги

фашисты! Взяли твою гладкую, сильную спину и изуродовали ее.

Потерпи немного, мама поможет тебе, она сделает тебе хорошо. Немножко, чуть-чуть потерпи.

И мы еще посмеемся, вспоминая обо всем этом. Будем бить кулаком по твоей спине, по тому месту, где была рана, и ничего, ни капельки тебе не будет больно.

— Все!

Мама села на крыльцо и закрыла лицо руками. Я подошел к ней и осторожно дотронулся до ее плеча. Она улыбнулась сквозь слезы, сказала:

— Знаешь, мальчик, сегодня я выросла в своих глазах вот на столько, — и показала на сколько. — Как чудесно!

И, хотя я не понимал, что здесь чудесного, когда дядя Эркин так намучился, я поддержал ее:

— Не до крыши — до неба, мама, ты выросла.

Она притянула меня к себе и начала целовать и смеяться, и мы с ней стали прыгать, как сумасшедшие, и мама все повторяла:

— Чудесно, мальчик, как хорошо!

Не успел я досмотреть коротенький сон о разных цветных шариках, которые лопались, едва взлетая к небу, как мама разбудила меня — ей пора на работу.

Раньше бы я капризничал, и мама бы целый час щекотала меня, чтобы окончательно разбудить, но сейчас я вскочил.

— Как дядя Эркин?

— Спит еще...

Голос у мамы был тихий и усталый, и вся она была измученная, как после болезни, похудевшая. Куда исчезла моя прежняя мама, веселая хохотунья. Встанет, бывало, рано-рано, тормошит папу, кричит:

— Посмотри хоть раз, как встает солнце, красота!

И бросается к окну встречать новый день, приветствовать солнце, капли росы на винограднике.

Где она, эта моя мама? За ночь она будто постарела. Еще бы, не спать, нервничать, все время сидеть возле дяди Эркина, поить его лекарствами и ходить по комнате и думать.

Только изредка она приходила ко мне, ложилась, не раздеваясь, на край кровати и лежала, и смотрела на тени на окне, на потолке.

— Слушай внимательно, Магди, — сказала мама, — теперь ты должен быть взрослым и помогать мне во всем.

— Да, мама.

— Как только дядя проснется, заставишь его принять лекарство в красной бумажке, а когда часы пробьют двенадцать раз — таблетки в белой бумажке. И будешь поить его молоком. А в полдень я прибегу, чтобы сделать ему укол... От тебя, малыш, зависит многое. И я верю тебе, понял?

— Да, мама. А что я должен делать сейчас?

— Ждать, пока он проснется. И дашь ему лекарство в красной бумажке... Будь умницей...

Мама ушла, а я постоял немного у двери дяди Эркина и начал ругать себя за то, что я трус и белоручка, и что я не могу открыть дверь, зайти в комнату и сесть на стул рядом с дядей Эркином и ждать, пока он проснется, и что не могу сочинить смешную историю, чтобы потом рассказать ее дяде Эркину, когда он откроет глаза.

Жил-был дядя, нет, мальчик. Этот дядя, то есть мальчик, был маленьким, а дядя большой, в два раза больше мальчика. И у него была жена и курица Ряба. И мальчик сказал жене: скажи, чтобы он поймал курицу. Курица была не простая — золотая, и мальчик гонялся за ней и наконец поймал...

Нет, жил-был Буратино. У него был дядя. Дядя был похож на Карабаса-Барабаса. У дяди была курица Ряба. Они жили на веселых, на зеленых, на Азорских островах, где, по свидетельству ученых, ходят все на головах, там жил Кашалот с тре-

мя головами, он сам сочинял, сам исполнял и сам себе аплодировал. А курица Ряба сказала мальчику: съешь мое яйцо, не простое, а золотое. А дядя...

Он проснулся, открыл глаза, и я чуть не залез под кровать от страха. Он глядел на меня и не видел, что это я, смотрел сквозь меня — такой у него был взгляд, и у меня от его взгляда заболело все внутри.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не бойтесь, я Магди.

А он не только не боялся, но и продолжал не видеть меня, гордый очень. Лицо его теперь было немного похоже на человеческое, и можно было разобрать, где глаза и где губы, а то все было одного цвета.

— Хорошо, — сказал я. — Не думайте, что это я хочу дать вам лекарство, мама приказала.

Ему было все равно, пить лекарство или нет. Но почему он так смотрит? Почему молчит? Может быть, ему очень плохо? И как его поить лекарством, если он ничего не понимает и не хочет открывать рот?

— Здравствуйте, — сказал я. — Здравствуйте!

И вдруг он посмотрел на меня и увидел. Он увидел меня и понял, что я сижу перед ним, и, кажется, чуть-чуть улыбнулся.

Он улыбался мне, я — ему, и мы смотрели друг на друга и улыбались. Я совсем не боялся его — удивительно, даже подмигнул ему и сказал:

— Это я, Магди. А я вас знаю. Вас зовут дядя Эркин. Вас ранили на войне, а потом мы взяли вас. В госпитале не было места. И мы вас взяли. Вам там негде было лежать и выздоравливать... Здравствуйте...

Он смотрел на меня и улыбался для приличия. И отвечал мне только тем, что чуть-чуть шевелил губами.

— Ладно, — сказал я строго, — давайте принимать лекарство. А то мы с вами заболтались тут.



И, как только он приоткрыл рот, шевеля губами, я бросил ему на язык таблетку.

— Глотайте, глотайте. Оно маленькое.

Он поворочал во рту белым, совершенно белым языком, и таблетка выкатилась на подушку.

— Не плюйте, пожалуйста, — сказал я, — если не хотите иметь неприятности с моей мамой.

Я снова бросил ему в рот таблетку.

— Вы глотайте. А я вам спую. Чтобы не было горько... На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах — тах-тах-тах!

И, пока он слушал меня, раскрыв рот, таблетка растаяла у него на языке и потекла внутрь — туда, куда положено.

— Вот и все, — сказал я. — И, если вы всегда будете послушным, мы подружмся с вами...

И тут часы пробили двенадцать раз — надо снова впихивать таблетку. Ох как тяжело!

А потом прибежала мама. И прогнала меня, и начала осматривать дядю Эркина, и проверять, все ли таблетки я впихнул в него, а затем вышла во двор с ведром, полным красной жуткой ваты и бинтов и разных ампул, и, грустная, молчаливая, отнесла все это в мусорный ящик.

— Как он вел себя? — спросила она.

— Он меня слушался во всем! И не отказывался от лекарства. Мама, он там стонет!

— Слышу. Сейчас перестанет.

Дядя стонал очень жалобно, как маленькая собачонка, которую бросили одну. Мама пошла к нему. Дядя Эркин вскоре затих, и мне было интересно посмотреть, как же мама делает ему легко, но она меня не впускала к нему.

А когда мама снова ушла в госпиталь, я зашел к дяде и увидел, что он спит. Заснул дядя... Спал он как-то сердито,

будто все время видел один и тот же сон про войну, про то, как в него стреляли и хотели убить и как он падает и уже не помнит ничего, ничего не видит и не слышит — потерялся.

И тут пришел ты, Марат.

— Я слышал, что у вас раненый?

— Откуда? Кто тебе сказал?

— Соседка ваша. Это правда?

— А как она сказала?

— Да никак!

— Скажи. Я же вижу по твоим глазам...

— Я отругал ее, не волнуйся. Мерзавка сказала: не успел уехать отец Магди, как мать его привела к себе другого мужчину.

— А что здесь плохого?

— Ничего плохого... Можно посмотреть на него? — попросил ты.

— Только краешком глаза, хорошо? Он спит.

Ты, чего-то боясь, просунул голову в дверь, увидел его, поглядел, поглядел и шепнул:

— Он кто, сержант?

Я не знал, сержант лучше, чем простой солдат, или нет, но на всякий случай сказал:

— Кажется, он генерал. Молоко не пьет, лекарства не принимает, капризничает.

Когда мы вышли во двор, ты спросил:

— Наверное, теперь ты не будешь дружить со мной?

— Что ты! Я буду дружить и с генералом и с тобой.

— Ты ведь знаешь меня раньше, чем генерала, на целых десять дней.

— Конечно. Притом с генералом надо много возиться. И не знаю, можно ли дружить с ним по-настоящему. И говорить ему правду в глаза... Если бы ты знал, как я сегодня спасал генерала! У него были припадки, он кричал и бил посуду, а я ему дал такое лекарство, что он сразу пришел в себя

и целый час благодарил меня. И сказал, что даст мне орден, когда выздоровеет...

— Магди, — прервал ты меня, — можешь помочь мне?

— Могу, — сказал я растерянно.

— Вот видишь, — и ты вынул из сумки бумажки, много черных, жутких, противных бумажек. — Видишь, их сколько?.. Одну из них нужно отнести Лейле-апе, а я не могу. Она мне как мать. Делает мне все. Это о Хакиме, о дяде Хакиме, ее сыне.

— Его убили?

— Да.

— Я попробую. Сделаю, Марат... Только сейчас жарко на улице...

— Сейчас, Магди. Я не могу носить с собой его черную бумажку. Сейчас, пока генерал спит.

— Ладно, — сказал я, — как хочешь... Только ты смотри, чтобы генерал не проснулся.

И я пошел. Сжимая в руке черную бумажку дяди Хакима, сильного и большого дяди Хакима, который ушел и вернулся домой, став черной, злой бумажкой. И Лейла-апа будет плакать и рыдать, ей будет очень и очень плохо, и она будет звать сына, дядю Хакима, просить, чтобы он вернулся — оттуда, из лесов, и будет думать, что это она, мать, так обидела своего сына, что он ушел от нее навсегда... Нет, нет, это шутка, все это злая шутка, не может быть, чтобы дядя Хаким не вернулся к своей маме, ведь он так любил ее!

С минуту я постоял у ворот ее дома, потом открыл их, сделал шаг, второй, прошел по темному коридору и, увидев во дворе, под виноградником, Лейлу-апу, покраснел, будто без спросу залез в чужой дом.

— Чего тебе, Магди? — спросила она.

— Я...

— Ничего не слышу. Сейчас я достану вот эту большую

кисть и слезу к тебе... Это я Хакиму, сыну... Он пишет, что скучает по винограду, мой мальчик...

Да, да, я так и думал! Дядя Хаким жив. Мать собирает для него виноград. Сын ее обрадуется, он так соскучился по винограду...

— Мой Хаким так любит виноград, — сказала мать, — в детстве, когда он был таким, как ты, Магди, он целыми днями сидел в винограднике и ел, ел, а я, дурная, кричала, гнала его, боялась, что живот его лопнет...

Да, конечно, он сидел в винограднике и сейчас сидит и вспоминает и ждет виноград матери... Нет, он жив, дядя Хаким!

— Марат! — закричал я. — Он жив, это ложь. Я сам видел. Мать собирает для него виноград!

— О чем ты говоришь, Магди?

— На! На! На! — разорвал я черную бумажку, бросил и начал топтать ногами и кричать: — Он жив, дядя Хаким! Не смей! Не смей!

Три ночи подряд мама не выходила из комнаты раненого, три ночи подряд за стеной были слышны ее тревожные шаги и стоны дяди Эркина. Часто дом замирал совсем, не шелестели даже листья виноградника — дядя терял сознание. Три дня и три ночи подряд мама выносила из комнаты раненого полное ведро жуткой ваты и бинтов.

Ни о чем другом мы не говорили, кроме как о раненом. Ложились спать и просыпались с мыслями о нем. Как ему? Что с ним? И только по глазам мамы я видел, как плохо дяде Эркину и как трудно ей. Утром чуть свет она бежит в госпиталь, в полдень опять домой — перевязка, уколы, а вечером снова тревоги, волнения. И мама совсем не жаловалась, а наоборот — старалась делать так, будто все хорошо и нечего опасаться. Я совсем не знал, что мама моя может быть такой выносливой и самостоятельной, не подозревал, что она такая

сильная без тебя, отец. А мы-то с тобой боялись, что будет с ней, когда ты уедешь на войну!

И тут еще мы получили от тебя, отец, хорошее, смешное письмо и совсем воспрянули духом. Мы несколько раз перелистали с мамой твое письмо, потом на следующий день Марат прочитал мне еще два раза, и я запомнил все слова письма.

И я представил, как вас привезли наконец к месту, где должна была быть война. А там войны вовсе и нет, кругом лес, большие, толстые деревья, и ничего не видно в двух шагах. И ты ходишь, и удивляешься, и не поймешь ничего, потому что впервые видишь лес. Радуешься, залезаешь на деревья, собираешь шишки и, как говорит мама, совсем не думаешь о нас в эти минуты.

А потом командир кричит: «Стройся!», — и ты, как белка, сползаешь с дерева. «Направо, налево!» И тебе здорово достается от командира, — ты плохо понимаешь по-русски, путаешь, все идут направо, только ты один налево — смешно!

Затем командир заставляет тебя лечь, ползать между деревьями. У всех это получается хорошо и нормально, только ты один, как назло, застреваешь между двумя соснами и не можешь ни вперед, ни назад, кричишь: «Братцы, помогите мне, не оставляйте, медведи съедят!» Бедный папа... Солдаты тянут тебя за ноги, вытаскивают, а командир влепляет тебе выговор за неуклюжесть. Ну и смешной же ты, отец, на войне, прямо как храбрый Клыч-батыр из сказки.

Ничего, только пиши нам почаще с войны такие веселые письма. И пусть все ходят хмурые и убивают, а ты не падай духом...

Мама сказала, что, пока шло твое письмо, у тебя закончились учения и тебя отправили воевать по-настоящему. Желаю тебе быть хорошим солдатом, храбрым, веселым, и тогда, я уверен, тебя никогда не смогут убить...

Как хорошо! Сегодня дядя Эркин сказал наконец первое слово. Проснулся, поглядел на нас с мамой и сказал: «Ситора». Мы вскочили со стульев и начали ждать, что он скажет еще, но дядя молчал, словно говоря — хватит с меня на сегодня. Уставился на нас, чуть застенчиво улыбаясь, и смотрел то на маму, то на меня, на комнату, на стену и на часы, на окно.

Маме надо было бежать в госпиталь, и она быстро перевернула его на бок и, в честь того, что дядя заговорил, вцепилась ему укол большущей иглой.

— Что это, мама, Ситора? — спросил я, провожая ее к воротам.

— Название местности, где дядя родился. Где-то в Фергане... Ну, будь умником и не надоедай ему своими разговорами.

«Ситора», — сказал я и прислушался. Хорошо звучит, красиво! Понятно, дядя спал и увидел во сне родной кишлак у гор, детство, как он, маленький, босоногий, карабкается по горе, за ним бежит собачка, трусливо повизгивая: не поднимайся так высоко, Эркин, там страшно. Но он лезет, лезет к самым облакам. Внизу красота какая! Маки горят. И между маками кубики-дома. А вот и дом Эркина, мама сидит за пряжей, во дворе сестренка играет с козликом. Здесь хорошо, хо-ро-шо! И горы, и ветер повторяют, как попугай: «Хо-ро-шо!»

И тут дядя Эркин просыпается. И долго не может понять, отчего ему было так хорошо. Ведь на самом деле: незнакомые лица — мое лицо, мамы, боль в теле и уколы, уколы. «А, — думает он, — совсем забыл, была же война...»

Я снова сажусь на стул у его изголовья и какой уж день подряд смотрю ему в лицо и жду, жду, что вот он наконец заговорит, улыбнется и встанет... Но все это придет не скоро. Ладно, я буду терпеть и ждать...

Дядя Эркин уже должен понимать все, раз он заговорил.

Я смотрю ему в лицо и вижу, что оно порозовело, стало немного спокойнее, и глаза поумнели у дяди. Умные такие глаза, все понимающие. Лицо красивое, все острое и гладкое, нос острый, подбородок. И сам он крепкий, широкий — большие ноги, половину кровати занимают, даже чуть-чуть висят, и плечи еле вмещаются. А на подбородке ямочка прорезана, наверно еще с детства.

Он лежит и смотрит на меня, изучает, смотрит на мои руки, волосы, нос и улыбается — я ему, конечно, нравлюсь. И я начинаю рассказывать:

— Папа прислал такое смешное письмо, просто ужас. Мы с мамой так хохотали. Будто он застрял между деревьями в лесу и его вытаскивали за ноги. Папа у меня умный, не думайте, это он так, балуется на войне... Он все делал раньше за маму. Маму мою зовут Нора, она...

— Мама хо-ро-ша-я, — прошептал Эркин, — хо-ро-ша-я... — И начал смотреть на потолок и думать о чем-то и совсем перестал меня слушать. Конечно же, он думал о моей маме, о тех ночах, которые она провела у его постели, и о неприятных уколах, о болях, которые мама старалась ему облегчить.

— Хотите послушать моего папу?

Я распахнул окно, сел на кровать, что-то щелкнуло, переключилось и началось:

— Внимание! На зарядку становись! Раз, два — марш! Направо, налево!

Дядя Эркин застыл, заскрежетал зубами и застонал.

— Это же папа! Мой папа!

Но он не понимал, все стонал и ерзал в постели.

И первый раз в жизни я не дослушал до конца папу — выключил.

— Не надо, — сказал я. — Ну, не надо...

А может быть, он завидовал папе? Папа на войне, а он, раненый, беспомощный, лежит здесь. Кто знает?

Я уже не помню, сколько дней мы ухаживали за дядей Эркином: может, месяц, а может, и два, точно не помню. С утра до вечера я пихал в него лекарства, развлекал рассказами, а с вечера всю ночь до утра с ним сидела мама. Вот поэтому-то дни текли однообразно и казались одним длинным, ненормальным днем. Я почти не выходил на улицу и однажды очень удивился, когда увидел, что все листья слетели с виноградника. И вот тогда-то — ура! — дядя Эркин, мой родной, хороший дядя Эркин, который столько намучился, у которого так сильно болела спина — мы с мамой волновались и боялись, сможет ли он встать, выйти на улицу, смотреть на деревья, вокруг, на людей, на небо, на солнце и кричать: «У-лю-лю! Чертовски хороша она, эта жизнь!» — он, мой дядя Эркин, встал!

Встал наконец! Крикнул:

— Магди, ко мне!

Я вскочил как сумасшедший, испуганный и радостный, побежал к нему в комнату и, весь съезжившись, как будто это не у него, а у меня сейчас хрустнет спина, схватил его за руку и помог выпрямить спину, затем сбросить ноги с кровати на землю, встать.

— Вот! — весело сказал он. — Вот и все! Ура!

— Ура! Хо-хо!

— Ха-ха! Ура!

— Теперь можно обратно! Раз-два, на войну!

— Да, — сказал я, — теперь можно!

А самому, дуралею, вдруг захотелось плакать.

— Да, теперь все.

Все, дядя Эркин выздоровел. И он уедет опять в леса, о которых так интересно рассказывал по вечерам. И не будет теперь дяди Эркина. И я останусь, как и прежде, один с мамой. И нам будет скучно и тоскливо. Останется только сидеть и ждать папу с войны — больше ничего. И мама, наверное, погонит меня в школу к страшному хромому учителю.



Мама скажет: «Хватит шалопайничать Тебе уже восьмой год пошел и пора браться за ум».

Раньше она этого не говорила и не заставляла хвататься за ум — за дядей Эркином надо было присматривать.

— Теперь все, — повторил я и поежился.

Дядя Эркин засмеялся и потрепал меня по волосам — дурная привычка трепать волосы, которых почти нет, — и сказал:

— Ничего, малыш. У вас будет другой дядя. Мама возьмет другого.

— Не нужно другого. Он будет капризничать и важничать. И выплевывать лекарства обратно.

— Тот, другой, будет поинтереснее — генерал! А не солдатишко.

— Не хочу генерала! Он будет важничать. Я назло не стану за ним ухаживать.

— Чудак человечек! Генералы бывают разные. Придете с мамой в госпиталь, и ты сам выберешь хорошего генерала.

Все равно мне будет плохо без тебя, дядя Эркин, нечего уговаривать. Проснусь утром, а тебя нет. Кровать пустая и холодная... Скажу «доброе утро», будешь молчать, будто обиделся. Выйду во двор, прислушаюсь — только виноградник шелестит, скучно-скучно. И на улице тебя не будет, буду ждать, ждать, и неизвестно, вернешься ли ты к нам снова с войны.

— Не бойся, — сказал вдруг дядя Эркин, — буду стараться...

— А вы зря не надеваете талисман, который дала вам ваша мама. Старики знают...

— Ничего никто не знает. Посмотрим, мальчик. Там видно будет. На месте всегда виднее.

— Вы ведь не скоро? Вам еще надо потолстеть. А на это уйдет месяц, а то и больше.

— А я на войне потолстею. Самый раз...

Ну почему ты шутишь, дядя Эркин? Видно, тебе все равно, буду я с тобой или нет. Станный вы народ, взрослые...

— Ну, хватит, — сказал дядя Эркин, — помнишь, что наказывал тебе папа — выше нос, как Буратино!

И я вздохнул, взял дядю Эркина под руку и вывел на улицу.

Вот и наша улица, даже стыдно перед дядей Эркином. А он зажмурил глаза, задышал часто-часто, глубоко-глубоко.

— Эх! — и смахнул что-то с глаз, наверное соринку. И начал смотреть по сторонам и радоваться. И опять смахнул с глаз соринку. Проклятая улица — минуту нельзя постоять, ветер обязательно сдует с крыш саман.

— Хорошо! — сказал дядя Эркин. — Замечательно, малыш! И зря ты наговаривал на вашу улицу. — Посмотрел на вывеску на наших воротах и вдруг рассмеялся: — Улица Кирпичная, дом 5.

Что тут смешного? Сегодня ему все кажется веселым, смешным. Не то что мне.

— Кирпичная! Ни одного кирпича вокруг.

— Я же говорил вам...

— В этом тоже своя прелесть, малыш. Ни черта ты не смыслишь в жизни!

И, пока мы смотрели на вывеску, смеялись, сзади послышались шаги — прямо на нас.

Полоумная Медина и ее неумная подруга Шарофат, соседки!

Я вздрогнул — смотрят так, будто мы в чем-то виноваты. А дядя Эркин, ничего не соображая, кивнул им — мол, здравствуйте.

— Это тот мужчина, соседка, — сказала Медина, презрительно кивая в сторону дяди Эркина, — которого Нора, мать этого несчастного мальчика, пригрела возле своей бесстыжей груди. А отец на войне кровь проливает и ничего, бедный, не ведает!.. Э-хе! Времена...

— Времена, времена, — закивала белой головой Шарофат. — Все смешалось. И правда и неправда. И чужие жены с чужими мужьями. И как говорится в коране: во тьме люди волкам уподобились.

Дядя Эркин стоял бледный и растерянный и все время тер себе щеку.

— И вам не стыдно?

— Ты нас не стыди. Мы чужих жен не развращаем, на чужой постели не спим. Ты отца его постыдись, не умер еще. Вы с его матерью в любовь играете, а мы, думаете, слепые и глухие? Ничего не слышим? Ничего не видим? Убирайся-ка ты подобру-поздорову с нашей улицы!

— Да что вы, черт возьми, — начал было сердито дядя Эркин, но тут у меня прошел страх. И я сказал:

— Вы злые и нехорошие! Мы еле-еле вылечили, а вы... И улица эта не ваша, а общая...

Меня никто не слушал, перебивали:

— Где это видано? У какого народа? Чтобы замужняя, неразведенная? Стыд и позор!

— Уходите вы, злые, нехорошие! Приедет папа, он вам покажет! Идемте домой. — Я стал тянуть дядю к воротам, но он упирался, весь дрожал. И кричал что-то.

И так до тех пор, пока на улице не появилась моя мама.

Я бросился к ней:

— Мама!

Мама остановилась, ничего не понимая, бросила мне в руки свою санитарную сумку — и быстро к дому. И, не обращая ни на кого внимания, — дяде Эркину:

— Как?! Я же говорила вам, еще рано! Я же говорила!.. Что здесь происходит?

Минуту все молчали, поглядывая на маму, будто видели ее впервые, а дядя Эркин пожимал плечами и, заикаясь, говорил:

— Чушь какая-то! Ей-богу...

А я протиснулся между мамой и дядей Эркином и выглядывал оттуда на злые, удивленные лица соседок.

— Кому что неясно? — спросила мама. — Я слушаю...

Но по лицу ее было видно, как она волнуется, растерялась и боится за дядю Эркина.

— Мы хотим знать, Нора, — сказала Медина спокойно, — кто этот мужчина?

— Вы об этом спрашивали в первый день его приезда. Что еще?

— Ты умная женщина, докторша, и мы тебя уважаем, но люди... они удивляются...

— Чему же?

— Как это, чужой мужчина...

— Эркин лечится в моем доме. И пусть это вас не волнует!

— ...Ты женщина замужняя...

— Так что же? Не понимаю.

— ...и мы думаем, что твой муж, Анвар, наш уважаемый инженер...

— Будет огорчен, так? Так знайте все, что мой муж инженер Анвар, он рад, он доволен!.. Надеюсь, после такого объяснения всякие разговоры прекратятся... Но, если бы даже мой муж инженер Анвар не был бы рад и доволен, все равно Эркин должен лечиться в моем доме!.. Что еще?

Вопросов больше не было.

— Идите домой и ложитесь, — строго приказала мама дяде Эркину, и он пошел, лег на кровать и стал смотреть на тени на потолке. А мама как ни в чем не бывало начала готовить шприц для укола.

Мне же все было очень и очень непонятно. При чем здесь папа? Непонятно. И что плохого, если мама взяла из госпиталя совсем умирающего дядю Эркина и сегодня наконец он встал? Взрослые должны радоваться, а они... И что тут плохого, если дядя Эркин очень хорошо относится к маме, ждет

ее целыми днями из госпиталя, и радуется, и чуть не прыгает до потолка, когда она приходит и начинает делать ему больный-пребольный укол? И мама, я замечаю, в последнее время часто сидит с дядей Эркином, они разговаривают вполголоса, иногда смеются, и им обним хорошо и весело. Что тут плохого? Непонятно. И папа, когда мы ему написали про дядю Эркина, похвалил маму и прислал ей вырезанный из картона орден, где было написано: «За милосердие, 1-й степени», — и обещал ей настоящий, когда сам заработает.

— Магди, — позвала меня мама. — Иди посиди с дядей. Я на кухню.

Я зашел к дяде в комнату, а он даже не пошевелился, смотрел на потолок.

— Ладно, — сказал я, — не переживайте. Мы их победим, этих старух. Ерунда!

— Да, — сказал дядя Эркин, но очень тихо, — ерунда. Откуда ты знаешь, что ерунда?

Он подвинулся, и я сел на край кровати.

— Расскажите мне лучше про лес, — сказал я, — про тот самый лес.

— О, как много я уже тебе рассказывал!

— Я люблю слушать про лес.

— Ладно, — сказал дядя. — ...В том лесу... Мы идем, идем по лесу, целый отряд, много солдат. Идем день, два, идем, идем, а лес все не кончается. И вдруг темно и ничего не видно. Ни дороги. Ни огня. Страшно. Идем тихо, осторожно... Вокруг немцы. Много немцев.. И вдруг один солдат не выдерживает и кричит: «Мама, мама, оклики меня в лесу! Помогни мне, мама!» И тут немцы начинают стрелять... Строчат из пулеметов, пушек, танков. А солдат все кричит: «Окликни меня в ле-су...»

И тогда командир вырывает из своей груди сердце, горящее, ослепительное сердце, и, высоко подняв над головой, ве-

дет нас по лесу уже не страшному и светлому... И звали этого командира Данко...

— И все?

— Да.

— А дальше? Они вышли из леса? Солдат успокоился?

— Остальное завтра. Тебе пора спать.

...И я иду по лесу. И кругом темно и страшно. И страшные коряги протягивают руки, чтобы схватить меня. Я кричу, хочу бежать. Но ноги будто привязаны к земле. А с деревьев на меня смотрит Баба Яга, очень похожая на Медину. Смотрит и смеется противным смехом:

— Ха-ха! Вы еще ответите перед всей улицей...

А с другого дерева другая страшная старуха, Шарофат.

— Времена, времена... Да, ответите за все. — И протягивает ко мне руки и хочет задушить.

— Мама! — кричу я. — Мама, оклигни меня в лесу! Помоги мне!

Кричу и не слышу своего голоса. Онемел от страха.

— Что с тобой, малыш, успокойся! — мама обняла меня, начала целовать.

Я открыл глаза: наша комната, мама, дядя Эркин, ночь.

— Мама, — прошу я, — не надо от меня скрывать. Что случилось? Что хотят эти старухи? Я хочу знать, все хочу знать!..

— Умоляю вас, реже попадайтесь на глаза этой Медине, — сказала мама дяде Эркину, — она полоумная и может натворить глупостей.

— Спасибо, спасибо за все! Я уже вполне здоров. И скоро смогу опять на фронт.

Дядя встал и начал браво, как оловянный солдатик, расхаживать по комнате, а мама кричала ему:

— Ну, хватит, хватит. Хорошего понемножку. Не пе-

реутомляйтесь. — И они оба рассмеялись — так им было весело.

Странные они, эти взрослые. Часто смеются просто так, безо всякой причины, но у мамы и дяди была причина — дядя почти выздоровел, и пусть они смеются, пусть смеются побольше, потому что мама так давно не радовалась и не смеялась.

— Как хорошо снова жить, ходить, это очень здорово! — говорил дядя. — Я всегда буду помнить, что живет на свете женщина, которая помогла мне в беде. И эта женщина вы, Нора.

— Ну что вы! Зачем такие высокопарные слова?

— Это радость, поверьте мне.

И так они, взрослые, говорили и говорили в тот вечер, клянясь друг другу в признательности, и это меня сместило. Затем дядя Эркин сказал:

— Сегодня ровно три месяца, как я у вас в доме. Двадцатого августа — двадцатого ноября. Двадцатое число каждого месяца — это мой праздник. Представляете, Нора, какой я богатый — двенадцать праздников в году, каждый месяц — праздник!

И вдруг дядя Эркин сделал такое, что я просто ахнул. Он взял маму за руки, и они стали медленно передвигаться по комнате под грустную мелодию, которую напевал дядя. Они совсем забыли обо мне, танцевали и смотрели друг на друга.

Я сидел и любовался ими. Еще никогда я не видел, чтобы у дяди было такое доброе и чуть грустное лицо. А мама, никогда бы не подумал, что она может так красиво танцевать, никогда я не видел, чтобы она танцевала с папой. Просто, наверное, папа не умел или не хотел, ему было не до танцев.

Дядя был в два раза шире мамы и почти в два раза выше, он был неуклюжим оттого, что рана не совсем зажила.

Они танцевали очень долго, потому что мелодия, которую напевал дядя, оказалась очень длинной.

Затем мама увидела, что я смотрю на них, и сказала дяде:

— Возьмем с собой мальчика.

И я стал между ними и тоже закружился, смеясь и напевая мелодию дяди...

Я совсем не знаю, спит мама все эти дни или нет. С вечера уйдет в комнату дяди Эркина и снова выносит оттуда ведро, полное жуткой и страшной ваты и ампул, бегаёт, суетится и совсем не отдыхает — все свое время, сон, еду, отдых отдает тому, чтобы окончательно вылечить дядю Эркина.

А по утрам проснусь я и сразу вижу их у окна — маму и дядю Эркина, — смотрят, как приходит в сад солнце, говорят тихо, вполголоса, словно боясь испугать солнце и новый день. О чем же они говорят? Прислушался как-то. И ничего не понял. Просто об осени, о листьях виноградника, будто ничего другого и нет на свете.

В те дни мы получили письмо от папы. Опять же он больше писал о нас, чем о себе. Единственное, что можно было узнать из его письма, это то, что он целыми днями и ночами идет с солдатами мимо деревень и городов. Непонятно, что это за война, если солдаты только тем и занимаются, что топают. Можно подумать, что война — прогулка по красивым местам, и больше ничего.

Мы тут же сели с мамой писать ему ответ. Вначале мама написала все то, что хотела сказать сама...

«Дорогой Анвар. Скорее бы кончилась война, ты представить себе не можешь, как мне трудно без тебя, родной. Эркин уже выздоравливает, выходит с Магди на улицу. Как я измучилась с ним! Но он хороший и добрый и совсем не капризный. Почему ты так мало пишешь о себе? Я совсем не знаю, как ты там, и мне становится порой очень страшно. Смотрю на Эркина и думаю, как мучается человек, как все не-



лепо бывает. Его ранили в самом первом бою. Но он уже выздоравливает и скоро отправится на фронт. А вдруг вы там встретитесь, вот будет интересно!..»

Все Эркин да Эркин... Эркин то сделал, Эркин то сказал... Ладно, зато я не скажу о нем ни слова, назло маме.

«Папочка, я уже вырос. Все ходят в школу, а я нет. Решил подождать. Вот приедешь ты, тогда буду учиться, а сейчас учеба не лезет в голову. Все думаю о тебе...»

Мы сидели с мамой во дворе и грелись на солнце. Дядя Эркин спал. Мама только что перевязала ему рану, и он уснул.

— Скоро будет долгая, очень долгая зима, — сказала мама.

— А я люблю снег! Ты же знаешь, как я люблю снег!

— Бежишь в госпиталь, а на улице еще темно, — думая о чем-то другом, сказала мама.

Я давно хотел спросить у нее:

— Мама, скажи, дядя спит, я сплю, и папа, наверное, в это время спит на войне, только ты не спишь. Я же слышу, ворочаешься в кровати за стеной. Почему?

— Я слезу, как бы дяде ночью не стало плохо.

— Помнишь, у папы было что-то нехорошее на работе и вы не спали. Говорили мне, спи, а сами не спали. Если бы ты мне рассказала, тебе было бы, наверное, легче.

Но она ничего не ответила, только прижала меня к себе.

И еще она часто рассматривала папины вещи, возьмет папину рубашку, и сидит, и рассматривает... И еще перечитывает все папины письма. И ничего не говорит мне. Думает о чем-то, думает.

Я ей говорю:

— Тебе нельзя так много думать, будет склероз. Пом-

нишь, ты папе запрещала много думать, говорила, что будет склероз.

Как бы я хотел превратиться в волшебника, тогда бы я сразу узнал, что у мамы на сердце и отчего она так много думает. Помню, волшебник из сказки любил повторять: один ум хорошо, а два лучше.

И тут пришло письмо от папы.

— Магди, — услышал я голос Марата, выскочил на улицу. — Станцуй, — сказал Марат.

— Некогда. — Я выхватил у него письмо и побежал к маме. — Письмо от папы! Станцуй!

— От папы? — Она не вскрикнула, как всегда, не обрадовалась. — Что-то невообразимое, — сказала она. — Я только что думала о папе — и вдруг от него письмо. Как будто он чувствует...

Странно, читала она его смешное и веселое письмо и плакала.

Целый день мама была грустной. Все падало у нее из рук, упало ведро, разбилась ампула с лекарством. Потом она заперлась в своей комнате и не выходила ни ко мне, ни к дяде Эркину.

Что происходит с моей мамой, не знаю.

Тогда я ведь очень многого не понимал, не понимал, что она мучалась и не знала, что поделать с собой, со своими чувствами...

«Здравствуй, дорогая мама. Я очень скучаю по тебе. Виноград был такой вкусный, что просто у всех солдат слюнки текли. Но я поделился с ними, я же не скряга. Не бойся, мама, меня не убьют, я буду стараться, чтобы меня не убили, буду смотреть в оба. И твой талисман я всегда ношу с собой, и он спасает меня от смерти...»

— Хватит, — кричу я, — хватит о смерти!

Марат бросает карандаш.

— Пиши дальше ты. Я не могу. Не могу обманывать больше! А что мы напишем, когда кончится война, что?

— Иди тогда, признавайся. Скажи Лейле-апе — ваш Хаким давно умер. Это мы пишем вам письма за него.

Мы всегда злимся друг на друга, когда сочиняем письма умершего сына матери. Каждый из нас почему-то чувствует себя виноватым в том, что его убили. Но как пойти и сказать матери, что ее сына больше нет, и зря она пишет ему письма, и он их уже давно не читает?

И вот каждую неделю мы пишем матери письма умершего сына и Марат читает их ей — она полуслепая и не видит, что почерк не дяди Хакима. Потом она диктует ответ, и Марат пишет умершему сыну от матери. Она говорит очень трогательные слова, и когда мы слушаем их, у нас по коже бегают мурашки оттого, что нет его уже, ее сына.

Сегодня моя очередь сочинять письмо. Я придумал сказку о лесе и о папе, и она так и вертится у меня на языке, так и хочется, чтобы сын писал матери:

«По темному лесу мы идем с солдатами, и с нами папа Магди. Помнишь, живет на нашей улице мальчик Магди, худенький, длинноногий? И вот мы идем с его папой, инженером Анваром, побеждать врагов. В лесу то вспыхнут глаза волка из-за кустов, то Баба Яга оскалит зубы, сидя на дереве... А деревья шумят, потому что все они заколдованные, и гром гремит, и молнии сверкают... И кто-то из солдат не выдерживает и начинает кричать: «Мама, мама, оклихни меня в лесу, приди и помоги мне!» И тут папа Магди, инженер Анвар, вырывает из своей груди сердце, большое, сильное, яркое как солнце, и ведет за собой солдат. И лес расступается, и убегают волки и Баба Яга, и успокаиваются деревья. И солдаты разбивают всех немцев, и мы побеждаем...»

Мы так и пишем. Дарим матери мою сказку. Пусть ей будет легче жить и верить...

Просто невозможно ходить по нашей улице. Выйдешь, обязательно увидишь, как полоумная Медина шушукается с какой-нибудь соседкой. О нас шушукаются, о маме и дяде Эркине, зло так, противно.

Что бы ей такое сделать, чтобы она замолчала?

И тут еще дядя Эркин тоску нагоняет своими расспросами: что, как?

— Что-нибудь опять говорила эта полоумная Медина?

— Нет, ничего!

— Говорила же, вижу по твоему лицу. — А сам побледнеет, или мне так кажется, не знаю.

Почему он такой, дядя Эркин? Неужели он боится их? Я маленький и то не боюсь ни капельки, а он...

Зато он был очень талантливый в детстве, не то что я. Играл на скрипке, да так, что все родственники плакали от умиления.

— А почему вы не стали великим музыкантом? — спросил я. — Ведь все, кто с детства играет, становятся великими.

— Бросил. Отец у меня был свирепый. Взял и сломал скрипку, когда увидел, что я всерьез занялся. Для него не существовало такой профессии — музыкант.

— Странный отец. А вы?

— Я горевал и даже заболел. Но потом свыкся. Глупый был.

— Я бы ни за что!

— Знаю, ты герой... Мой отец знал всего лишь семь букв алфавита. Считал центром вселенной сельсовет. Рассказывают, что, когда я вылутился на свет, он прибежал с поля, прогнал всех старух-богомолок и положил рядом со мной куст хлопка — на счастье!.. Хотел, чтобы я, как и он, рос с хлопком и любил землю. А я заупрямился, бросил все и уехал в Ташкент, и выучился там. Стал преподавателем.

— А у вас есть дети, дядя?

Он ответил не сразу. Пощупал горло, будто ему трудно стало дышать.

— Один я... — ответил он тихо. И добавил: — Мать умерла, и отец в прошлом году... Тебе хорошо, мальчик, у тебя такая мама...

Мы немного помолчали.

— Что ж, — сказал я, — ничего не поделаешь, надо принимать лекарство.

Бедный дядя Эркин молча соглашается. И я смотрю, как он глотает таблетку, и думаю: наверное, в животе у него накопилось больше тысячи таблеток. И непонятно, как это туда еще вмещается пища. Я бы не смог так, я бы кричал, швырял таблетки, а он глотает, глотает, глотает их без конца.

После таблетки дяде надо немного полежать вверх спиной, потерпеть. Он весь становится красным, как апельсиновая кожура, морщится и кусает губы от боли. И я пугаюсь, не знаю, как помочь ему.

Вот и сейчас, не успел он полежать две минуты, как начинает ерзать, будто лежит на горячей постели, стонет.

— Дядя, родненький, еще чуточку, еще чуточку, сейчас пройдет...

Дядя Эркин сбрасывает с себя одеяло. Пытается встать. Я помогаю ему, подвожу к окну. Он смотрит в окно и вдруг принимается насвистывать. Вначале еле слышно, потом сильнее. И забывает обо всем на свете, обо мне, о боли в спине. И смахивает что-то с глаз, наверное, соринку.

— Дядя...

Он берет палку, на которую опирается, и линейку со стола, вытягивает руку и играет. Будто это не палка, а настоящая скрипка, а я — полный зал слушателей.

Вот это да! Вот так дядя — настоящий музыкант!

— Что-нибудь веселое, дядя!

Он кивает, кланяется публике.

Все кружится вместе со мной, танцует. Стол на пузатых

ногах топ-топ-топ, кастрюля, обнявшись с кружкой, тук-тук, и папин сапог тоже не выдерживает — том-том, и стекла на окне качаются, дрожат — дзиль-дзиль.

Вот это да! Вот так веселье! Такого веселья у нас давно не было!

## VII

Я всегда радовался зиме, ждал ее. Чистый снег на винограднике, на крышах, на шапках людей закрывал и прятал все гнилое, грязное, и все после зимы рождалось новое и хорошее, до следующего лета, пока на крышах опять не набирался мусор, а на винограднике — гнилые листья и ветки. Я всегда радовался зиме, ждал ее, но эта зима принесла в наш дом снова грусть, тревоги, потому что дяде Эркину снова стало плохо. Рана на спине у него закрылась, и мама больше не выносила на улицу противную вату и бинты, зато дядя начал много и долго кашлять, и кровь теперь шла у него из горла.

Что случилось с ним, с моим дядей? Что сделала с ним предательница-зима, которую я так ждал — думал, мы с дядей будем кататься по снегу, бегать, и смеяться, и дышать глубоко-глубоко чистым воздухом.

Я знал, это проклятая, полоумная Медина накликала на дядю беду. Говорят, она ходила к соседу Калантару, просила, чтобы он послал дяде смерть, а маме — муки ада. Ничего, придет папа, он отомстит ей за все, если дядя Эркин сам не захочет мстить. Мне кажется, что дядя боится Медину и всех соседок, иначе он бы встал, пошел и заткнул бы им рот. А он... Он только спрашивает, что говорила Медина. Как она говорила? А мама вовсе не обращает на них внимания, она молодец. Глупости, пусть говорят, что хотят, мне все равно — вот слова мамы. Как это смогла она стать такой храброй, непоятно.

Однажды к нам в дом пришли сразу шесть врачей, и, когда

они, осмотрев дядю, ушли, мама закрылась в своей комнате и начала плакать.

Мама плакала потому, что столько ночей не спала и сидела с дядей, а ему опять стало плохо. Она плакала потому, что сделала бедному столько укулов, ему было больно и страшно, а теперь опять все пошло сначала. Она плакала потому, что дядя выходил уже на улицу и играл на скрипке, а теперь не мог, и надо было снова лежать и ждать выздоровления.

Бедная мама, она снова начала ходить в старом платье, забыла, что она женщина и надо мазать лицо кремом. И снова все стало падать у нее из рук, и не было больше моей веселой, счастливой мамы, мамы, которая ходила гордо оттого, что очень нужна дяде, что делает ему добро, что и она теперь может быть кому-то полезной.

Но что же все-таки случилось с дядей Эркином? Я спрашивал об этом у мамы, но она твердила одно: «Все будет хорошо, все будет хорошо».

И только лет через десять, когда многое уже начало забываться, я случайно нашел в столе у отца наши с мамой письма. Среди них было одно, которое мама отправила отцу без меня, хотя все остальные писали мы вместе.

«Дорогой Анвар! Не знаю, как тебе рассказать. Случилось такое несчастье... Эркин болен. Он страшно болен. Что делать? Посоветуй мне. Как спасти его? Умереть сейчас — разве это справедливо, скажи мне, справедливо, ведь ты все знаешь, Анвар, умоляю...»

## VIII

— Побежали в мечеть, — задыхаясь, сказал Марат, и мы по задворкам пробрались к мечети, полезли на самый ее верх, к куполу. Там было круглое отверстие, откуда можно наблюдать за всем, что творилось внутри мечети.

Старики, галоши, чалмы и ишан Калантар. Все это внизу, все перемешано, разные краски и запахи. Противные запахи заплесневелых стен вытягиваются в отверстие и не дают нам дышать.

Вот уже закончилась молитва, и верующие, поговорив с богом, окружили Калантара. А он, полон достоинства, мудрости, подняв руки к небу, сказал:

— О, мусульмане! Мы должны сегодня решить вопрос чести и благопристойности...

Марат был сосредоточен и хмур, а меня почему-то пробирал смех — вспомнил, как мы с дедушкой кричали: «Шарабара, продаем, меняем старые галоши на новые».

— В мудром писании говорится: и, когда начнут жиреть и в беспечности забывать о боге, появится на небе черная звезда несчастий, посланная богом, и тогда люди, как шмели бешеные, станут жалить друг друга...

Это он об отце своем вспомнил, как тот, бедный, скончался, проглотив во сне шмеля

— Да будет вам известно, что война — это и есть та черная звезда несчастий! И да будет вам известно, что сами же узбеки, забывшие о боге, накликали на головы своих собственных детей эту черную звезду...

— Интересно, да, Марат?

— Тише!

— Выходит, наши отцы сами накликали черную звезду?

— Замолчи!

— И в то время, когда мужчины умирают на войне за веру нашу, против проклятых кафиров, жены их... о, да простит мне аллах, забывают о чести и совести...

И вдруг все закричали: «Правильно!», — все зашущукались, заволновались, непонятно отчего.

— Все вы знаете докторшу Нору, жену инженера Анвара...

И все сказали:



— Знаем!

И еще больше заволновались.

Нора? Кто это Нора? Это же моя мама. Жена инженера Анвара.

— Женщины раздражены ее поведением. Они негодуют, страдают. Они приходят ко мне, они просят, умоляют, чтобы мы с вами, братья, установили наконец, нет ли в ее отношениях с тем мужчиной чего-нибудь такого, что порочит скромное, стыдливое имя узбекской женщины.

— Она совсем забыла о своем муже! — закричал Мекка, муж полоумной Медины. — Жена моя узнала об их порочной связи.

— Это позор! Что, если наши дочери возьмут с нее пример, с этой докторши?

— Мы, мужчины, станем посмешищем, жены уйдут из-под нашей власти!

— И распадутся семьи, как говорится в коране, и начнется кровосмешение, и исчезнут роды. Гнать их с нашей улицы! Гнать!

Я кусал губы со злости и шептал Марату:

— Ерунда! Ничего они не сделают. Это не только их улица, а общая.

— Надо бежать и предупредить твою маму.

— Приедет папа... он покажет им...

— Неправда! — вдруг послышался голос там, внутри мечети.

«Кто это посмел?» — старики зашевелились, зашушукались.

— Неправда это, уважаемый! — Сираж-бобо, тот, который по утрам пускает вату в сторону солнца, вышел из толпы и сказал Калантару: — При всем моем уважении к вашей седой бороде (откуда он взял у Калантара седую бороду?) я не могу согласиться... Она лечит чужого человека. Она ему помогает. Она делает добро. И в коране нашем говорится:

«Да славится тот, кто в трудную минуту протянул руку страннику». — Он говорил торопливо, обращаясь то к одному, то к другому старику, которые слушали его с презрением: — Хоть убейте меня, не согласен.

Калантар махнул рукой, как будто говоря: отстань, дурак.

— Сейчас война. И она помогает тем, у кого горе и боли. Мы не должны быть с ней жестокими.

— Выходит, я не прав? — сказал Калантар, противно усмехаясь. — Вы слышите, мусульмане, я не прав!

— Он с ума сошел! — раздались голоса.

— Гнать его из мечети!

Но Сираж-бобо, набравшись храбрости, закричал на Калантара:

— Ответьте мне, вы, наш отец, ответьте мне: зачем понадобилась богу душа моего двадцатилетнего сына? Невинного, кроткого, как агнец? Зачем? Немцы убили его, и бог взял его душу! Зачем?

— За грехи такого осла, как ты, — ответил Калантар, не задумываясь.

— Если богу так нужна душа, пусть он возьмет мою, старую. Я уже прожил свое. А он был молодым, он ничего не видел, он хотел жить. — Сираж-бобо заплакал. — Бог жесток, — продолжал он сквозь слезы, — и всегда он приходит за своей жертвой не вовремя. И берет того, кого не нужно, без разбора.

— Да замолчи ты!

— Сумасшедший!

— А эта женщина делает добро. Она все бы сделала, чтобы спасти моего мальчика, но бог его взял. Я преклоняюсь перед этой женщиной. А богу я говорю: ты жесток! Пусть он меня судит.

И все расступились перед ним, и Сираж-бобо медленно пошел сквозь ряды злых и противных людей...

Мы побежали домой. Я ходил по двору, прислушиваясь, затем пришел к дяде Эркину.

— Ничего они не сделают, не бойтесь! — Я закрыл дверь. — Сейчас пойдет дождь. И они побоятся.

— Они идут сюда?

Дядя побледнел, сел на кровать.

— Нет! Сейчас пойдет дождь. Скорее бы пошел дождь.

— Сейчас придет мама.

— Да, мама придет сейчас.

— Черт возьми, пусть они приходят! Они мне снились, эти призраки. Костлявые призраки! Пусть скорее! Скорее же! — закричал он.

— Ложитесь, дядя, умоляю вас.

И тут начали стучать в дверь. Тихо, потом громче.

— Это ветер. Да, ветер.

— Иди открой, Магди, не бойся!

— Докторша Нора, откройте!

— Это Калантар!

— Пусть это будет сам дьявол. Открой! — закричал дядя, не в силах встать сам.

— Голос мамы! Мама пришла, дядя!

Я бросился на улицу. Мама и Калантар... — еще двое стариков.

— Мама! От папы письмо.

— Мы пришли, уважаемая докторша, от имени мусульман и всех жителей улицы, — сказал Калантар.

— Прошу, заходите.

— Нет, нет.

Один из стариков, Мекка, злой, трет шею, руки, будто жарко. Второй, Сафар, смотрит в землю, качает головой. И еще какие-то люди бегут, еще дети. Медина возле своих ворот.

И мама все время поправляет волосы.

— Так что же вы решили узнать? Хотя, насколько я понимаю, от имени улицы всегда говорит домоуправ.

— А ты не хитри, не хитри! — Медина подбегает к маме и бьет себя почему-то в грудь. — Бесстыжая!

— Мы очень уважаем вас, докторша. И хотим уберечь от непродуманных поступков, которые, знаете ли, могут бросить тень на вашу семью.

— Магди, ты что здесь делаешь, иди к дяде, я сейчас...

— Почему ты, дочь таких почтенных родителей, жена человека ученого, сама ученая, привела в дом чужого мужчину? — спросил Мекка у мамы, и Медина подданнула.

— Я врач, он раненый, и я обязана его лечить.

— Он твой любовник! — бьет себя Медина в грудь.

— Вы, наверное, забыли, что идет война. Он раненый, я должна вылечить его. — Мама была очень спокойна.

— А как же ваш муж, инженер? — спросил Калантар. — Я спрашиваю от имени всех мусульман.

— Я не мусульманка! Я бы вам объяснила, Калантар, но ведь вы не поймете... Эркин! — закричала мама. — Не выходи!

Но дядя не послушался. Все отступили, увидев его, бледного, очень больного, еле переступающего через порог на улицу.

— Насколько я понимаю, речь обо мне? — он улыбался как-то очень странно, глаза его блстели. — Что ж, я готов! Обвиняйте меня!

Все молчали. Мама бросилась к нему.

— Магди! Его надо в постель!

— Только не трогайте ее... Она ни в чем не виновата...

— Ведите его в дом, — сказал кто-то. — Ему очень плохо.

И соседи начали расходиться. Калантар, Медина, старики — все исчезли. А мы уложили дядю в постель, и он забылся, потерял сознание.

А утром кто-то разбил о наши ворота сразу несколько бутылок, и порог дома был усыпан осколками.

Это значит, что соседи отвернулись от нас, объявили нам войну.

Что ж, ладно! Посмотрим, кто кого!

Я нашел в чулане банку с черной краской и рано утром перебежал улицу и всю краску вылил на любимые ворота Медины. Пусть теперь позлится!

И еще я решил написать папе, чтобы он прислал мне бомбу.

«Дорогой папа, пришли мне как-нибудь незаметно бомбу. Нет, только не подумай, что фашисты захватили наш город и держат маму в плену и мучают меня, чтобы я перешел на их сторону. Этого вовсе нет, если бы фашисты сунулись сюда, мы бы с Маратом ушли в партизаны и поймали бы самого главного фашиста, когда он проезжал бы на мотоцикле. Мы бы его допросили, а потом...

Я не знаю, что бы мы с ним делали, что-нибудь придумали бы.

Пришли мне, пожалуйста, бомбу. Это очень важно, и без бомбы я просто не знаю, как быть дальше».

Так я сидел и сочинял в уме послание папе, пока не прибежала к нам Медина вся, как ведьма, в черной краске.

— Убили меня! Хотели потопить в краске, чтобы вы сгорели на медленном огне, чтобы на ваш дом чума налетела!

Мама растерялась от ее крика, а я спрятался. Мама спрашивала, что случилось, но Медина кричала как чумная, и ничего нельзя было разобрать, кроме угроз. Мама не выдержала и закрыла перед ней дверь на задвижку. Медина еще долго кричала и стучала кулаками в дверь, и это действовало на нервы дяде Эркину.

— Ну что они все хотят? Что? — не понимал он.

— Не обращай внимания, — сказала мама как можно спокойнее.

— Думал, скоро все кончится — уеду, забуду! Но нет же, нет! И кончится ли все это, Нора?

— Ты обязательно поправишься. Это от зимы, от зимы у тебя все началось снова.

— Ты что-то скрываешь, Нора. Я знаю, как тебе тяжело. Не мучайся со мной, прошу тебя. Отвези меня в больницу.

— Верь мне, все будет хорошо.

Мама вошла в мою комнату, где я спрятался от Медины за шкафом, остановилась у окна и заплакала.

Я вылез из-за шкафа. Мама вздрогнула. Обняла меня.

— Прости, мама, я больше не буду обливать краской ворота Медины.

## IX

Часто, когда дяде становилось очень плохо, мама выбегала во двор и кричала:

— Магди, скорее!

Это значит, что мне надо было бежать в госпиталь и звать докторшу тетю Зульфию маме на помощь. Потому что маме казалось, что одна она уже ничего не сделает. Тетя Зульфия прибегала, что-то объясняла маме, успокаивала ее, они вместе возились с дядей Эркином, пока ему не становилось легче. Маме очень нужен был кто-то из взрослых, кто бы ее подбадривал, вот тетя Зульфия этим и занималась.

Сегодня тоже пришлось бежать в госпиталь за тетей Зульфией. Женщина с красной повязкой у ворот уже знала, что мне нужно, и вела меня по коридорам мимо раненых; и я не боялся их, как раньше, разглядывал и уже мог определить, кто из них солдат, а кто генерал.

— Куда же она пропала, Зульфия? Вы не видели Зульфию? — спрашивала женщина у каждого. А я торопил ее:

— Скорее, скорее, мама просила скорее!

И мы опять шли и шли по коридорам, заглядывали в палаты, но тети нигде не было. Где же тетя Зульфия? Мне чудилось, что мама зовет все время меня и тетю, что ей очень плохо.

Но оказалось, что тетя Зульфия поехала на вокзал встречать новых раненых.

— Как только она придет, я пошлю ее к вам, — сказала женщина.

Я бежал домой и думал, что бы сказать маме такое, отчего бы она успокоилась.

Кто это выходит из наших ворот? Дедушка! Милый дедушка приехал, как всегда, неожиданно-негаданно.

— Обманщики и ханжи! — кричал он, перебегая улицу. — Дышать нечем на этих улицах! Все загадили.

Видно, кто-то его встретил и насплетничал насчет мамы, вот он и вышел из себя.

— Дедушка! Милый!

Я обнял его — так соскучился! Он только раз не очень ласково поцеловал меня и пошел дальше. Я бросился за ним.

— Вернись, это недетское дело! — закричал дедушка.

— Я тоже хочу отомстить Калантару! Я так ждал тебя!

— Ишан! — Дедушка заколотил своими ручищами по воротам Калантара.

— Калантар! — закричал я. — Если ты не трус, выходи!

Калантар вышел к нам в чистеньком халате, без чалмы, совсем домашний и не похожий на того, которого я видел в мечети.

— О, друг мой! — Он бросился обнимать дедушку. — Рад видеть человека, которому дороги судьбы нашей религии! Прошу в дом. И тебя, мальчик. Хоть ты и обозвал меня в тот раз, но я простил. Ибо в коране говорится: «Нет греха у того, кто не достиг еще семи лет».

— Ему уже больше семи, — сказал дедушка, — но не в этом дело.

— Заходи, брат мой, в этот приют для странников.

Он повел нас в дом, в такой же, как и наш, с виноградником во дворе. А мне всегда почему-то представлялось, что дом у Калантара мрачный и темный, там бродят дикие,

тощие кошки и с деревьев во дворе смотрят на вас филины.

— Ты обвинил меня когда-то в жульничестве, брат мой, — сказал Калантар дедушке. — Но теперь ты видишь, что я беден и нищ. Я сплю на дырявом одеяле, посмотри; и сандал мой совсем без угля. Мне важен дух бога, а не мирские сладости. Я все роздал беднякам. И властям я отдал два мешка муки для армии — вот справка... Садитесь, гости мои, грейте ноги в сандале. Я растопил его из старых, дорогих моему сердцу книг, иначе бы я замерз... Угощайтесь кишмишом, спасибо теще, прислала из деревни, чтобы я не умер с голода.

— Хватит, — сказал дедушка. Он не садился. — Все это я слышал сотни раз. Я хочу знать другое: почему ты проклинаешь мою дочь?

Калантар протянул дедушке поднос с кишмишом.

— Ешьте, гости мои, не обижайте...

— Что она сделала, моя дочь?

— Бери, мальчик, кишмиш. Ты любишь кишмиш?

— Нет!

Дедушка и Калантар помолчали.

— На то воля мусульман, — сказал Калантар. — Они потребовали, и я подчинился.

— Что сделала дурного моя дочь?

— Люди говорят, что она и этот мужчина... Она с этим мужчиной. В то время как муж ее на войне, рядом со смертью.

— Ее вина в том, что она помогает этому несчастному раненому?

— Прости, но люди говорят, что еще хуже...

— Дочь моя кроткая, любящая мать и верная жена. У нее и в мыслях не бывает дурного. И он болен, этот человек. А у этой толпы ослиц и бродяг есть доказательства? Кто поймал ее на месте преступления?



Калантар молча развел руками.

— Кто, назови!

Калантар протянул дедушке подушку:

— Приляг, брат мой, дай отдохнуть своим костям.

— Я плюну сейчас в твою бороду!

— Брат мой, успокойся.

— Допустим, она даже сделала зло. Но всякому злу есть только один судия — это бог. И ни ты, ни толпа этих ослов мусульман, ни мечеть — никто не имеет права судить человека. Ты опять нарушил предписание шариата, в тысячный раз нарушил, бычья твоя голова! А Нора моя чиста как слеза, которую она пролила сегодня при виде меня.

— Ну, если ты так уверен...

— Уверен! И хочу, чтобы ты не трогал ее больше. И унял эту толпу сумасшедших, этих ублюдков, которые воображают из себя людей бога. Все... Не хочется мне сегодня злить себя, хватит. Идем, Магди!

— Дай бог, чтобы в вашей семье было все благополучно. — Калантар протянул руки к потолку. — Аминь!

Когда мы вернулись домой, дедушка остановился во дворе, что-то обдумывая, затем помыл руки, долго вытирал их. И зашел к дяде в комнату.

Дядя привстал, увидев его, улыбнулся.

— Лежите, лежите... Выздоровливаете?

— Как будто бы да.

— Ничего, ничего. Я привез дыни. И сухих фруктов.

Пойдет вам на пользу.

Затем спросил у мамы:

— Как ты тут, Нора? Трудно тебе очень? Что пишет Анвар?

— Пишет, что воюет. О чем он еще может писать. Долго ты не приезжал, отец.

— Дела, дочка, год был трудным. Воды в реках мало. И хлопок не рос. Кое-как выкрутились.

Я послушал их немного, пошел в свою комнату и лег на кровать. И почувствовал, что страшно хочется спать. Никогда еще такого не было. Наверное, это от волнений, потому что волнений сегодня было больше, чем надо. Вот я и уснул среди бела дня.

Проснулся и увидел Марата. Он дергал меня за руку и чуть не плакал. Я вскочил.

— Что случилось? Где дедушка?

— Дедушка уехал. Он торопился.

— Зачем?

— И дядя ушел.

— Куда? С дедушкой?

— Нет. Дедушка сам по себе. А дядя сам по себе, — сказал Марат и, схватив свою сумку, убежал куда-то.

Я бросился в комнату дяди. Потом к маме.

— Мама! Мама! Почему вы молчите? Где вы? Где дядя? Почему вы спрятались? Я же вижу, вы спрятались! Я же вижу! Сейчас они выйдут все втроем — мама, дядя и дедушка — и засмеются. И скажут...

— А! — закричал я.

— А! — закричало эхо. И стало опять тихо.

Я кричал и бил кулаками в дверь. Потом упал на кровать дяди Эркина, на еще теплую, пахнущую лекарством, дядей кровать и заплакал, уткнувшись в подушку.

А когда выплакался, понял, что дяди Эркина больше нет.

Зачем ты ушел, дядя? Знаешь, как обрадуются теперь Медина и Калантар, выходит, они победили нас. А что мы скажем папе? Как он будет сердиться на маму, на меня за то, что мы не смогли удержать тебя! Мама такая храбрая, не побоялась их, смеялась им в лицо, а ты, мужчина... Эх, дядя, дядя...

Я молчал, не говорил тебе, даже себе боялся признаться... Но я немножко стыдился за тебя, понимаешь? Перед Маратом,

перед мамой и даже перед собой. Но ведь он тяжело болен, он не мог... Все равно. А как же на войне? Папа пишет, что даже тяжелораненые и те сражаются...

Я уверен, что он трус. И сейчас он струсил. А трусов я терпеть не могу. Нет, я не могу ему простить. Он испугался. Сбежал, бросил нас. Мама столько лечила его, переживала, а он обманул и сбежал. Ну и пусть. Пусть он уходит. Не нужно мне такого дядю...

— Не нужно! — закричал я. И краешком уха слушал, не идет ли он назад. Если бы он вернулся... я бы простил... Вот сейчас, вот сейчас если бы он вернулся...

Нет, не простил бы. Он трус!

Я толкнул дверь. Выбежал во двор. Тихо. Никого.

— Мама!

Мама, мама, мама, что с тобой? Ты сидела почему-то на полу. Ты сидела так час, два, не меняя позы, будто превратилась в каменную.

— Мама!

Я звал тебя, кричал и плакал от страха, но ты не откликнулась.

Мне почему-то было боязно дотронуться до тебя. А что если ты спросишь, где дядя? Что я скажу тогда? Мне было стыдно за него. И больно за тебя, мама. Разве можно было простить ему трусость? Нет! Но зачем, зачем ты так страдаешь за него? Разве ты не видишь, что он обманул нас?.. Ничего, потерпи немного, скоро придет папа, и все будет хорошо, как раньше, все просто и понятно.

— Мама!

— Да, Магди... иди ко мне.

— Скоро придет папа.

— Папа? Почему так темно, уже ночь?

— Нет еще...

— От папы письмо?

— Завтра будет письмо. Мы поспим, проснемся, и придет Марат с письмом.

— Да, да, письмо. Иди-ка на улицу и посмотри. Он должен написать письмо. Он не может так уйти. Иди скорее...

Я вышел во двор, постоял немного и хотел уже вернуться и сказать — нет, он не написал, он боится, потом вспомнил, побежал на кухню, схватил глиняного солдатика, которого лепил целую неделю, делал глаза, нос, винтовку, разукрасил, я взял и бросил его на землю: вот тебе! вот тебе! И не стыдно тебе! И почему это мама так убивается из-за тебя? Непонятно. Я говорю о письме папы, а она ждет твое. Не пиши нам и не возвращайся. Ты нам не нужен. Ты всегда дрожал и боялся соседей и никогда не любил ни меня, ни маму.

— Внимание! — сказал папа. — На зарядку становись!

— Магди! — От голоса мамы у меня по спине забегали мурашки. — Не надо! Что ты делаешь?

— Я... слушаю папу...

— Не надо!

Она ударила по пластинке.

— Не надо, у меня голова... Эта пластинка старая, она хрипит... Голова разламывается!

И бросилась на улицу. Наверное, искать письмо дяди Эркина.

Что делать? Бежать за ней? Остаться с папой, с его голосом?

— Вним... трг... ног... Маг... — и пластинка кончилась, замолчала.

— Папа!

Он молчал, разорванный и уничтоженный.

Зачем она это сделала? Ведь это был папа, его голос! Что плохого сделал ей папа?.. И кто теперь будет со мной разговаривать, кто? Дядя сбежал, мама молчит, а папы уже больше нет. И я остался один, один, совсем один, как в том темном и страшном лесу...

— Эй, Магди! — В воротах показалась полоумная Медина, зверюга. — Не придет он больше, твой новый отец-то. Сбежал. Все. Не жди...

«Дура», — подумал я и направился в госпиталь. Мама, наверное, там. Наверное, она не может быть больше одна, привыкла лечить кого-нибудь и хочет взять из госпиталя нового раненого. Хорошо было бы! Медина, наверное, думает, что победила нас. Как бы не так! Возьмем себе нового раненого, и пусть она себе локти кусает. Он покажет ей, этот новый раненый, как клеветать на маму! Он покажет всем, он будет сильный и смелый, настоящий солдат.

Кто знает, а вдруг мама возьмет к нам самого настоящего генерала, тогда Медина вообще умрет от злости! Он как гаркнет: «Разойдись!» — только держись! Приведет своих солдат, целый полк, тысячу человек, нет миллион, и возьмут они Калантара за шиворот и выбросят на небо к его любимому богу, пусть там и живет. А с Мединой и другими старухами разговаривать даже не станут. Дунут на них разок, они и улетучатся.

Не успел я помечтать, как был уже возле госпиталя и увидел маму. Она стояла у дверей с какой-то тетей в халате, и обе они плакали.

— Ничего, Нора. Вот увидишь, вернется. Не может же он один, такой слабый, уйти куда-то...

— Зачем ты пришел? — спросила мама. — Иди домой.

— Не прогоняйте мальчика, ведь он тоже переживает, — сказала тетя. — Заходи, мальчик, сюда, погрейся.

— Идем, мой маленький, — сказала мама.

Мы зашли в коридор и стали греться у печки. Мама все время выходила на улицу, потом снова грела руки, — молчала и плакала.

— Мама, — сказал я, — давай возьмем другого раненого, только смелого и хорошего!

Как я пожалел потом!

— Не смей так говорить! Иди домой!

И я ушел. Пусть, пусть, она еще пожалеет, вот возьму и уйду куда глаза глядят. Пойду искать папу...

Все равно дядя Эркин не найдется, сколько бы его ни искали. И не напишет маме. У него нет ни карандаша, ни бумаги.

Ладно, пусть уж разок напишет, чтобы она не волновалась. Но только пусть не приходит, все равно я его не прощу.

Надо положить для него возле ворот карандаш и бумагу, пусть мама успокоится.

И опять эта дура Медина перед глазами, опять она радуется.

— Ничего, — сказал я ей, — сегодня к нам придет генерал. Тогда вы порадуетесь...

Мне было жутко, Марат. Я злился на них, взрослых, оттого, что у них все так сложно и запутано — отец где-то на войне, был с нами дядя Эркин, мы привыкли к нему, все было хорошо, но он взял и сбежал, а мама совсем потеряла голову, просто не узнать ее, и дедушка, бывало, приедет, шутит, смеется, а тут на тебе — так быстро уехал.

Все перевернулось вверх ногами, все запуталось. Да ты еще со своей вечно мрачной физиономией. Мы почему-то говорим шепотом:

— Что, он ушел насовсем, да?

— Слушаешь всякие сплетни, да? Но мы возьмем другого, получше, генерала. Мама пошла в госпиталь.

— А правда? Правда, что они любили друг друга?

— Как ты сказал? Повтори!

— Что здесь плохого, дуралей? Честное слово, я ведь не говорю гадости, как Медина. Любила — это значит, я читал, это так хорошо, что люди убиваются.

— Убиваются? Зачем убиваются?

— Да нет же! Понимаешь, черт возьми, ну, это так хорошо, так хорошо и приятно, что если у людей отнимают их любовь, они могут убить. Что ты так уставился на меня? Ты еще маленький чересчур и глупый, и я не могу объяснить, что такое любовь.

— Это как в сказке о Фархаде и Ширин, да? Как о Золушке и добром Принце? Как Буратино и Мальвина, да?

— Да, да! Как Фархад и Ширин. Теперь ты понял?

Да, Марат, конечно же, я начинаю кое-что понимать. Любовь... Просто ты первый произнес это слово, и я начал понимать. Все говорили гадости, и ругались, и злились, но никто не сказал: любовь. Никто не сказал, что это любовь, и я не понимал. Если бы мне немного раньше сказали об этом, если бы мне объяснили, что это то же самое, что и Фархад и Ширин, Буратино и Мальвина, что это то, из-за чего люди радуются, страдают, и плачут, и становятся совсем другими, и могут делать только добро, как Фархад, и искать золотой ключик счастья, как Буратино, и драться, и побеждать страшного Карабаса-Барабаса.

И вдруг я вздрогнул, испугался. А как же папа? Как же мой папа? Ведь он тоже любит тебя, мама, он ведь тоже, как Буратино, как Фархад, как добрый Принц! Как же он? Ты любишь и папу, и дядю Эркина, тебя любят и папа, и дядя Эркин. Опять все непонятно...

— Марат, скажи, ты говоришь, если отнимают любовь, люди убивают?

— Да... Как орел, у которого отнимают детеныша.

— Тогда как же отец? Неужели и он станет убивать? А можно так, Марат, как я? Люблю сразу и маму, и папу, а они вдвоем — меня?

— Взрослые, наверное, не могут, Магди.

— Могут! Могут! Врешь! Ты сам ничего не знаешь! Они смогут. Папа и мама смогут.

Я прошу тебя, отец, умоляю тебя, сделай так, чтобы ма-

ма любила и тебя, и дядю Эркина, если она не может без него. Пусть все останется по-старому. И никто не убивает никого, отец. Сделай так. Ты ведь добрый. Разве тебе жалко, чтобы мама любила и его? Зато я буду любить только тебя одного. Я ни чуточки не люблю его, и, даже сколько бы ни пытали меня, я все равно буду кричать: «Не люблю его, трусса, ненавижу!»

Кто знает, может быть, маме очень нужно любить его. Может быть, ей недостаточно любить тебя и меня. Такая у нас мама, ничего не поделаешь. Ты ведь сам говорил, помнишь, нашей маме нужно любить всех людей, весь мир...

Я вышел на улицу, посмотрел; а вдруг покажется дядя Эркин, вдруг он возвращается.

Пусть возвращается, если это так нужно маме. Но все равно я не буду любить его. Я буду спать с тобой, папа, и мы шепотом будем выдумывать всякие истории — пусть дядя не слышит, я с ним не играю...

Мы не спали. Я лежал в кровати, а мама сидела за столом. Оба чего-то ждали. Было тихо-тихо... И только часы никого не ждали, а продолжали, как всегда, бить — девять, десять, одиннадцать...

Мама прислушивалась. И я тоже прислушивался. Чего она ждет? И чего жду я?

Близко к полуночи мама еще больше забеспокоилась, чаще начала выходить во двор и возвращалась оттуда еще более подавленной и растерянной.

И вдруг я услышал ее страшный крик во дворе, выбежал из комнаты на мороз в одной рубашке.

— Лампу! — послышался мамин голос. — Скорее...

И я понял. Стоял как очумелый и смотрел, и ничего не видел. Только две темные фигуры у ворот.

Я осветил лампой и увидел его. Вернулся-таки! Дядя Эркин лежал возле порога, и мама тормошила его, звала, рыдала и смеялась. А я стоял, покачиваясь, не зная, что и по-



думать: хорошо это или плохо, что он вернулся. И никак не мог разобрать из-за проклятой лампы, жив он или нет.

И не помню уже, как мама сумела одна, без посторонней помощи поднять его, поставить на ноги и довести до комнаты. И когда она уложила дядю, и когда он открыл глаза, мама начала растирать ему руки, лицо и целовать их, целовать!

Я ушел к себе в комнату, лег и дал себе слово сразу же заснуть, чтобы не видеть ничего этого, ни дядю Эркина, ни маму.

Все это выдумки, говорил я сам себе, все это я придумал только что. Ничего этого не было, дядя не возвращался, и мама не целовала его, все это мне почудилось, потому что я простудился и сильно заболел.

Зачем вы вернулись, дядя Эркин? Зачем? Все было хорошо, и я уже начал привыкать к тому, что вас больше нет, и приготовился ждать папу, чтобы он приехал, наконец, и все пошло по-старому.

Пусть мама целует вас, пусть! Пусть она любит вас, пусть! Делайте, что хотите, и живите, как хотите — вы, взрослые. А я притворюсь, что ничего не случилось, что вы ушли навсегда и не возвращались. И буду жить один и ждать папу. Буду ждать его долго-долго. И он придет и все объяснит мне. Хватит, я не могу больше, взрослые. Ведь мне всего семь лет и четыре месяца...

**X**

— Папа!

Он стоял возле моей кровати, улыбался странной из-за рассеченной губы улыбкой, постаревший, с усталыми глазами. Чуть поодаль стояла мама и тоже смотрела на меня.

— Папа, папа!

Я знал, что проснулся, что открыл глаза, но не верил — все это могло случиться только во сне.

— Магди! — голос папы пришел откуда-то сквозь туман в голове, голос не чистый, как раньше, а со свистом из-за расщепленной губы. — Вставай, Магди, я приехал...

— Приехал? — Я все думал, что это сон.

— Здравствуй, мальчик... Ну, вставай же!

— Сейчас, сейчас... Только ты не уходи. Ты так редко мне снишься.

— Он все еще спит, — услышал я голос мамы. — Ну, пусть спит... Заснул только к утру.

— Да, мама, я еще чуточку посплю. Вы с папой очень редко мне снится. Теперь все будет хорошо. Папа вернулся... Что с твоей губой, папа? Тебя ранили?

— Ничего, все в порядке. Ну, открой глаза, посмотри, — папа поднял меня с постели и посадил на кровать.

Папа! Стоял живой, настоящий мой папа! Нет, я не сплю, я держу его руки, вот они, смотрю ему в лицо, и губа какая-то странная... Только губа не его...

— Папа! Приехал!

Приехал мой дорогой, мой родной папа, папа мой приехал с войны, живой, не убитый никем. Ведь правда же, это не обман, не выдумка, что он приехал!

— Ну, не надо, мальчик, не надо, будь мужественным, помнишь, как Буратино?

— Ладно, еще немного, я буду мужественным... Я же не плачу. Я так долго тебя ждал, папа, даже устал, не верил, что ты когда-нибудь приедешь. А ты приехал, ты со мной опять... А губа, губа... что сделали они с твоими губами?

Он опустил меня на пол, и я стоял перед ним, и все еще не верил, и злился на себя, и радовался, и не понимал, что они сделали с его лицом. Уехал таким красивым, а вернулся немножко другим...

— Сколько у тебя орденов? Ты стал героем?

— Всего одну только медаль мне дали. Да и то перед самым отъездом.

— Где? Покажи!

— Да вот она...

И он достал из рюкзака медаль и приколот мне на грудь.

— Мама, ты видишь?! Настоящая!.. Подари ее маме.

— Хорошо, маленький... Нора, ты слышишь?

Мама хотела сказать что-то. Но только подошла ко мне, потрогала папину медаль...

— А ты уедешь? Не уезжай больше, папа.

— Через две недели я должен обратно, мальчик... Война еще не кончилась...

— Я столько ждал! И мама ждала. И все ждали. А ты, ты вдруг опять уедешь!

— Война, малыш.

Мама стояла, прислонившись к стене, и молчала. Хоть бы она поддержала меня. Странная какая-то мама. Не радуется, не бегает, как раньше, когда папа приезжал из командировки. Наверное, мама уже устала радоваться, ведь папа приехал рано утром, когда я еще спал.

— Пап, ты уже познакомился с дядей Эркином? Помнишь, мы писали о нем?

— Нет, не успел. Дядя спит...

— А как ты там воевал? Смешно же ты застревал между деревьями, помнишь?

— Помню, конечно.

— Ты метко стрелял? Ты уже не боишься стрелять? А почему ты нам не писал о войне?

— О войне писать невозможно, мальчик. Много такого, о чем невозможно писать.

Две недели, пятнадцать дней, папа будет с нами, пятнадцать дней!

— Папа, папа! А ты видел живого, настоящего генерала? Правда, что они высокие, раза в два выше тебя, и голос у них сильный, как по радио?

— У моего генерала голос был пискливый, как у мошки. А ростом он был чуть выше тебя.

— Эркин проснулся, — вдруг сказала мама...

И он открыл дверь, споткнулся о порог, покраснел, пошел прямо к папе.

— Здравствуйте, здравствуйте! Простите, как всякий солдат, попавший в тыл, заспался. Что на фронте? — говорил дядя Эркин скороговоркой, будто боялся, что забудет то, о чем он решил спросить папу, будто заучил все, что хотел спросить.

— Немцев погнали из-под Москвы, — сказал папа.

Они стояли друг против друга — дядя Эркин в папином халате, большой, неуклюжий, не зная, что делать с руками, куда деть их, и папа — чуть ниже его и чуть уже в плечах, с умными, все понимающими глазами, прямо оттуда, с войны, из-под пуль и смерти. И рядом мама...

— Дядя Эркин, папа привез орден, настоящий, — сказал я.

Все посмотрели на меня, улыбнулись, вздохнули облегченно, будто каждый из них, взрослых, сбросил с плеч тяжелый камень.

Дядя Эркин осторожно дотронулся до медали на моей груди и сказал:

— Да, настоящая... Гордись папой!

— Вот бы и Марату такую медаль!

— Это какой Марат, малыш? — спросил папа. — Тот, что приносит мои письма?

— Да, папа. Ты еще с ним познакомишься.

— Что-то его давно не видно, — сказала мама, и дядя Эркин поддакнул ей.

Смешные эти взрослые; что с ними стряслось сегодня?

Все занялись мною, засыпали вопросами, будто им не о чем говорить между собой.

— Папа тоже был ранен, — сказал я дяде Эркину. — Видите губу? Расскажи, папа, как тебя лечили.

— Да никак. Взял перевязал губу, и все прошло.

— Как перевязал? Ты знаешь, что говоришь? А если бы инфекция? — сказала мама.

— Какая там инфекция! Все к чертям полетело, все микробы сгорели в этой войне!

— Все равно, — сказал дядя Эркин, — надо было принять меры предосторожности.

— А как вы себя чувствуете?

— Лучше, — сказала вместо Эркина мама, — намного лучше.

— Уже собираюсь обратно.

Обманывают они папу, не лучше. Плохо с дядей Эркином, я вижу. Часто у него поднимается такая температура, что мама вызывает «Скорую помощь», потому что сама от страха не может справиться. Никогда, наверное, он уже не сможет вернуться на войну. Мама об этом не говорит больше... Не вспоминает о войне и сам дядя Эркин...

Папе не терпелось выйти скорее на улицу, побыть одному. Он ни за что не хотел взять меня с собой, сколько я ни просил.

Наконец — ура! — он сдался и сказал:

— Одевайся.

А я ему:

— Пойду, если ты наденешь медаль.

Папа подумал, подумал, махнул рукой и приколол медаль себе на грудь. И мы пошли. Взялись за руки, как в былые времена, папа делал громадные шаги, два моих шага, и я бежал, чтобы поспеть за ним.

Как назло, на улице никого не было. Никто не мог видеть папину медаль, никто из ребят не завидовал мне.

А вот Медина тут как тут. Наверное, целый день только тем и занимается, что смотрит в щелочку ворот, чтобы не пропустить никого, кто появляется на улице. Вот она увидела папу в щелочку, бросилась ему навстречу.

— Здравствуйте, инженер! С приездом, инженер! Слава богу, что вы живы, здоровы... Тут мы без вас как без глаз, совсем ослепли от непонятных вещей...

Отец остановился и хитро заулыбался:

— Что же вам непонятно, соседка?

— Ой, как вам все это сказать! — Медина бегала во-круг моего отца, становилась то справа от нас, то слева.

— Остановитесь же наконец! Что это с вами?

— Я не верю слухам, инженер, я женщина трезвая, боже сохрани. Я даже разругалась со всей улицей из-за докторши Норы... Люди говорят, что она...

Папа молодец, даже не изменился в лице, только рука его дрогнула в моей руке. Он сказал:

— Вы знаете, уважаемая Медина, притчу о лошади, которая беспричинно лягалась, и так до тех пор, пока у нее не оторвалась нога? Знаете?

— Да, но...

— Все это ложь, соседка. И мне просто нечем отблагодарить вас за вашу чуткость.

Медина, как изумленная коза, тихонько бляла.

— Что вы, инженер... не надо... я так, из дружбы к вашей семье. — И вдруг пустилась бежать к своим воротам. — Трус ты, не мужчина! Жена твоя развратничает, а ты смеешься.

Папа тоже вышел из себя и закричал:

— Наиблагороднейшая мусульманка Медина, не злите меня!

И папа шел, и рука его дрожала в моей руке, как будто его схватила малярия, и он все время чертыхался: черт возьми! Черт возьми!

Мы шли, шли по незнакомым улицам, где я никогда не был, и пришли почему-то к крепости, туда, где кончался город. Стали карабкаться вверх по белой, совершенно белой тропинке. Папа лез, тянул меня за руки и все время насвистывал и молчал, и мне было непонятно, что же мы будем делать на крепости.

На самой высоте ноги у меня подкосились от страха, и я сел. А папа стоял, смотрел на город внизу, на сто кубиков из глины, рассыпанных как попало, будто ребенок играл в кубики, затем его испугали, и он рассыпал их как попало и убежал. И так и не вернулся больше, чтобы собрать их, поставить рядами, ровно и правильно.

Потом папа долго смотрел туда, где были поля, далеко-далеко уходила земля, туда, где были еще города, леса и реки, туда, где была война.

Что он там видел? О чем он думал?

Может быть, он видел то, что видел потом я, лет десять спустя, когда в самые грустные и невыносимые минуты приходил сюда, на крепость, и смотрел, смотрел вдаль, туда, где было просторно, много солнца и воздуха, туда, куда мне хотелось идти и идти, ни о чем не думая, просто идти, и все, и никогда не останавливаться, потому что там, мне казалось, человек настолько свободен, независим, что может легко превратиться в дерево, в птиц, в облака, во все чистое и бесхитростное.

Может быть, отец сейчас и думал о том, о чем я буду думать потом, лет десять спустя?.. Может быть...

Но вдруг он сказал:

— Побежали вниз! Ну! Быстро!

Все бежало и свистело за нами, все мчалось и догоняло нас.

— Вот и чудесно! — сказал отец уже внизу. — Теперь все чудесно!

Потом он привел меня в парк, угрюмый и голый. И мы сидели там на старой скамейке, сидели, молчали, затем я что-то спрашивал у папы, а он не отвечал, не слышал, только изредка поднимал голову, смотрел на меня, улыбался в ответ и молчал.

И, когда мы уходили из парка, он снова сказал:

— Теперь все хорошо! Все хорошо!

Мы опять шли по каким-то незнакомым улицам, останавливались почти возле каждого дерева, и папа смотрел на их верхушки, думал о чем-то, думал...

— Папа, что с тобой?

Но он не слышал, будто меня вовсе не было.

Я начал приставать:

— Идем домой. Ты сегодня какой-то непонятный.

— Да, — говорил папа, — малопонятный.

— А почему?

— Почему, почему! — передразнил он меня.

— Когда мне что-нибудь непонятно, я знаю.

— Счастливец!

— А ты, разве ты несчастный?

— Ерунда! Марш домой! Левоу, левоу, левоу!

— Мама, мама! Я же говорил, придет папа, отомстит за тебя. Ты бы видела, как Медина бежала без задних ног!

В комнату вошел медленно-медленно дядя Эркин. Сел за стол и уставился на меня. Как он побледнел! Что с ним? Опять был приступ? И почему у мамы такие глаза? Она плакала?

— Где вы были? — спросила мама.

— На крепости. Потом папа водил меня по разным улицам, где я никогда не был.

Дядя Эркин встал и начал расхаживать по комнате взад-вперед.



— А еще? — спросила мама.

— Еще? Еще папа чертил на песке всякие непонятные значки. И еще я забыл, где мы потом были.

Папа вымыл руки и вошел в комнату, где мы сидели.

— Ты, конечно, уже все рассказал? — он потрепал меня за волосы.

— Вы проголодались? — спросила мама.

— Очень! — воскликнул папа. — Воздух такой свежий...

Мама вышла на кухню, и несколько минут все мы молчали. Я ждал... И дядя Эркин вдруг заговорил первым:

— Я... я очень хотел бы покончить со своими болезнями к вашему отъезду. И мы бы уехали вместе.

— Ваше счастье, что смогли подняться через три месяца, — ответил папа. — Успеете.

— Да, мне повезло...

— А что говорит наш доктор?

— Наш доктор говорит: скоро. Но ведь все так неопределенно. И это мучает.

— Ничего, ничего.

— Но я не калека, не обреченный!

— Вы обязательно поправитесь. Потерпите немного. Терпение — это мужество.

— Спасибо. Спасибо.

Тихо вошла мама. Постояла у двери, послушала и начала подавать на стол. Сухие фрукты, дыню, лепешки — все так, как было много дней назад, когда папа еще не уезжал на войну.

— Я тебе помогу, — сказал папа. — Чего еще не достает? Ножа. Тарелок. Они там, на старом месте?

— Да, на старом.

И папа пошел на кухню, и вернулся с приборами, и стал, как прежде, хозяйничать за столом, резать хлеб, расставлять тарелки.

— Отличная дыня! — сказал он, подбрасывая ее.

И все расселись, и папа, по обыкновению, перед тем, как резать, стал крутить дыню на столе.

За столом взрослые опять молчали.

Потом мама пошла на кухню мыть посуду, и папа хотел, по обыкновению, помочь ей, но она запротестовала, и мы опять остались втроем — я, папа и дядя Эркин.

Дядя смотрел на папу открыто, и папа тоже вел себя с ним дружелюбно, а я радовался. Они привыкнут друг к другу, эти взрослые. Они обязательно подружатся. И мама, которая сейчас очень встревожена, снова придет в себя, и мы будем жить вчетвером — я, мама, папа и дядя Эркин, будем жить просто и хорошо. Скорее бы, скорее бы настал этот день!

Потом мы долго решали, как будем спать. И решили — мама в моей комнате, а мы с папой в большой, летней. Прижмемся друг к другу на одной кровати, и нам будет тепло. Я буду ночью поправлять одеяло, чтобы оно не сползло с папы, буду ложиться первым в холодную постель, и, когда она согреется, папа ляжет рядом.

А перед сном мы будем лежать и смотреть, как прыгают тени на потолке, и тихо, вполголоса, чтобы не разбудить маму и дядю Эркина, выдумывать всякие истории. И папа будет рассказывать мне о войне.

А утром я буду пересказывать ему свои сны — если приснится змея, пойдет дождь, если деньги — у меня заболит зуб, а если покойный дядя Фархад, то я не знаю, что будет.

Папа сказал:

— Сегодня я тебе ничего не буду рассказывать, устал страшно с дороги. А завтра, послезавтра, все пятнадцать ночей — пожалуйста.

Он сказал: спи, а сам не спал. Я смотрел на него краешком глаза, а он часто-часто мигал ресницами, вздыхал, а когда замечал, что я не сплю, сердился:

— Спи уже!

— Положи мне руку на плечо, тогда я сразу усну.

Минуты две я притворялся, затем кончалось терпение:

— Пап, тебе понравился дядя Эркин? Правда же, он славный?

— Я сплю.

А сам не спал, я видел.

— Ты с ним будешь дружить?

Папа будто не слышит.

— Как хорошо мы гуляли! Завтра пойдем все вместе, ладно? И мама, и дядя Эркин.

Я говорил еще что-то, еще. Дал себе слово не спать, а смотреть на папу, потому что он тоже не спал.

А утром все было как в сказке с хорошим концом. Папа сбросил с меня одеяло и приказал:

— Собирайся, малыш, к дедушке! Видишь, я уже почти готов.

— Сейчас, папочка!

Во дворе в окно я увидел маму.

— Мама, мама! Ты слышишь, мы едем к дедушке!

Мама остановилась, посмотрела на папу, на меня...

— Без тебя нам будет скучно, мама. И дядю мы тоже возьмем.

— Дядя может простудиться, — сказала мама. И еще она сказала: — Мы поедем все вместе летом, когда дядя выздоровеет.

— Ты не едешь?

— Да, Магди, дядя может простудиться, — согласился папа.

Я подумал и тоже решил, что дяде лучше остаться, и мы все вместе, и мама тоже, обязательно поедем в деревню летом.

Зимой нельзя лазить по деревьям и срывать яблоки и абрикосы, нельзя купаться в речке, бегать и прыгать по траве.

Зимой приходится сидеть дома, засунув ноги в теплый сандал, и есть сухой урюк, сухие лепешки...

Вначале я немного дулся на дедушку за то, что он так загадочно уехал в тот раз. Отвечал ему коротко «да» или «нет», папа тоже — «да», «нет», еще он говорил «разумеется» и «вероятно», и все мы втроем — я, папа и дедушка, — казалось, были чужими.

На третий день дедушка приготовил плов, очень вкусный плов варил он, и мы сели вокруг теплого сандала, говорили вначале о хлопке и о дынях, о зиме, а потом, я уже не помню, то ли дедушка, то ли папа, начал разговор о маме.

— Что ты мне объясняешь? — сказал дедушка. — Как только ты уехал на фронт, Нора заявила: не хочу жить постарому!

Папа долго молчал, и все перестали есть. Потом он ответил:

— А что мы знали о ней?! Веселая, добрая, избалованная. Любит нас с Магди. Вот и все.

— Что ей еще нужно было?

— Она сама, может быть, думала, что это все, что в ней есть. А может быть, и нет. Может быть, она всегда чувствовала, что способна на большее.

— Уж ей-то не приходилось жаловаться на судьбу!

Папа, казалось, не слушал дедушку. Он говорил тихо, как будто самому себе:

— Но мы не могли и не хотели этого понять...

Дедушка хотел сказать что-то, но не решился. Затем обрattился ко мне.

— Иди погуляй, Магди.

— Пусть остается, — возразил папа, — это его тоже касается. Он должен многое понять, наш мальчик... А потом вдруг оказалось, что есть человек, для которого она не игрушка, не развлечение, а сама жизнь. Да, жизнь. Она стала необходимой, и то, что она прятала от нас, прорвалось на-

ружу. И теперь Нора — это совсем другой человек, сильный и смелый человек. Понимаешь, отец. Мне кажется, что она любит Эркина за то, что нужна ему. Ну, понимаешь, ей дорог человек, который помог ей стать другой...

— А как же вы?! Ты? Магди?

— Но и нам с Магди она очень нужна...

— Папа! — Я прервал его. Я впервые видел папу таким грустным, и мне хотелось плакать.

Я выбежал из комнаты и шел, шел по полям, по холодным и замерзшим полям. Тут-тук — стучали мои каблукы о замерзшую землю, и казалось, что это был чей-то голос, как будто я разговариваю с кем-то.

Да, я все это видел, думал я, я давно заметил, что мама стала другой. Но я многого не понимал и не знал, хорошо это или нет. Папа сказал: мама стала сильным и смелым человеком. А мы не замечали всего этого. Она очень хотела быть сильным и смелым человеком, быть самостоятельной, чтобы делать все самой. Я не знал, хорошо это или нет, я боялся: как быть с ней, когда она станет самостоятельной? Но папа сказал: это хорошо! Теперь у нас все сильные и смелые: папа и мама тоже. И мне надо, мне тоже надо делать все, чтобы быть таким же, как они, а не плаксой и пай-мальчиком. И я догоню их, я тоже буду сильным и храбрым и тоже что-нибудь сделаю, буду лечить кого-нибудь, и когда вылечу, папа скажет: теперь и Магди стал другим человеком...

...А на следующий день мы все втроем — я, папа и дедушка — вернулись в город, к маме.

Вот и все, Марат, вся история. Война была слишком долгой, дни шли и шли, а война все не кончалась.

И опять мы разносили с тобой, Марат, страшные черные бумажки, и опять ждали от папы смешных писем, и считали дни, когда он вернется.

И не только мы, все ждали своих с войны, все надеялись... Только его уже никто не ждал, нашего дядю Эркина, только он так и не смог найти свой дом, хотя мама делала все, чтобы он выздоровел. Вскоре после отъезда папы на войну его не стало.

И хотя сейчас те далекие годы отодвинулись от всех нас, все равно мама иногда взгрустнет, поплачет. И папа тогда бывает особенно нежным и внимательным.



ТИМУР ПУЛАТОВ









**К**аип давно пережил тот возраст, когда умирают от всякого постороннего — скоротечной болезни, солнечного удара, от укуса змеи или яда рыбы, от слепоты или глухоты, кашля или дурного глаза: старика должны были просто побеспокоить и позвать к себе предки.

По утрам старик выходил во двор, вешал на кол постель из верблюжьей шкуры и, разглядывая вдаль холм, все думал...

Думал Каип, откуда появился тот первый человек, от которого и пошла потом жизнь на острове. Из чего сотворила его природа?

Вначале казалось Каипу, что сделался первый человек из смерча. На холме пещера, и, выпрыгнув оттуда, смерч с пес-

ком понесся к морю, радуясь обновлению. И неся он, ударяясь о валуны и пугая коршунов, и так до тех пор, пока, утомившись, не остановился у самой воды.

И вот тут-то от старания воды, ветра и солнца превратился смерч в глиняный столб, а столб этот, на удивление коршунам, вышел из моря человеком.

Сидели они как-то с Ермолаем на поляне, и Каип поведал другу о своем прозрении, показывая на холм, откуда шел к ним смерч.

— Смотри, человек, — сказал Каип в тихом старческом волнении, наблюдая за столбом пыли.

Ждал, что смерч приблизится и Ермолай сможет увидеть причудливо нарисованный песком грустный лик человека.

Смотрел Ермолай, но так и не увидел — убежал, ибо смерч летел к его дому, чтобы сорвать крышу и двери.

А Каипа смерч повалил с ног и засыпал наполовину. И старик уже наполовину умер — хорошо, откопали его вовремя земляки, люди, которые стали ему давно неинтересны.

В другой раз пришло к Каипу прозрение от змеи. Старик обнаружил ее под шкурой и выбросил на солнце. А к вечеру нашел змею, высохшую всю, кроме глаз.

Взглянув в глаза змеи, удивился Каип: тело твари распрощалось под солнцем со всеми соками, и только глаза были по-прежнему живые.

— Смотри, — принес Каип змею к Ермолаю. — Видишь, глаза змеи никогда не умирают, потому что не грустят и ничему не удивляются, — и показывал Ермолаю свои глаза, чтобы друг сравнил со змеиными.

Знал Каип, что змеи были корнями деревьев. Сползли они в землю и зарылись в песок, где больше жизни, чем на воздухе. А из песка этого и появился первый на острове человек.

Ермолай слушал Каипа и делал вид, что соглашается, хо-

тя на самом деле опыт другого был ему неинтересен: жил он, как и все, только своим опытом...

А море все дальше и дальше уходило от их острова. И люди сказали: от нас уходит рыба. Подобно тому, как предки их говорили: от нас ушел лес, а еще раньше: от нас ушла река, ибо знали, что все слабое в природе уходит, чтобы дать место пустыне...



Ночью, когда на острове ждали путину, старику вдруг приснился коршун. Застонав, Каип проснулся и долго просидел в постели, зная, что теперь умрет: коршун такая примета.

Старик уже был готов к отплытию. Кажется, он успел сделать все: наловил водорослей и перекрыл заново крышу — в доме теперь будет жить сын с женой; со всеми, кого хоть чем-то обидел, помирился; всем, у кого что-то брал, вернул; ел и пил умеренно, чтобы тело не тратило свои соки на мелочи. И смог наконец уговорить сына, чтобы тот вернулся с Акчи, с завода на остров к жене и был бы вместо старика работником дома и в море.

Пугала Каипа смертная суета. Знал он, что просто уходит в другой, долгий и утомительный мир. Знал, что туда уходят и добрые, и злые и что новый мир этот совсем близко, в тех песках, что вокруг.

Боялся он того, что, превратившись в песок, будет долго блуждать в новой своей жизни, доставляя хлопоты живущим.

Станет ветер трепать его и разбрасывать по острову, сползет он в море, и рыбы проглотят его и будут носить песок в утробе и между плавниками. А оттуда попадет он в чужие города и оазисы и будет кружиться в вечном стремлении обрести покой, но так и не найдет его до конца мира.

Каип знал, что немного времени отпущено ему на при-

готовления. Значит, без промедления, сегодня же, надо отплыть на Зеленый остров — там Каип родился, оттуда бежал когда-то, чтобы наказать Айшу... Когда же все это случилось? Старик облизал высохшие губы... Всякий раз, когда Каип думает об Айше, его преследует запах абрикосов. Откуда это? Тогда ведь была жара и в зарослях вокруг Каипа прыгали лягушки.

Недавно он встретил в море рыбака с Зеленого, и тот сказал, что Айша жива, одинока. По-прежнему ловит водоросли, закапывает рыбу в раскаленный песок и продает ее гостям острова.

Там, откуда Каип сбежал, похоронены отец и весь остальной род.

И вот сегодня они позвали его. Надо успеть. И хотя Зеленый виднеется отсюда в тумане, он близок, добраться будет нелегко.

Нужна лодка. А своей у Каипа нет. Нет ее и у Ермолая и у остальных — все лодки собраны бригадой: ждут с часу на час путину. Председатель Аралов отменил все поездки и одиночные выходы в море до особого распоряжения.

В поселке пусто. Вторую ночь уже все на карауле у моря. Только бродят овцы, заглядывая в дома и обнюхивая пороги.

Спят прямо на песке бухарцы — заезжие сапожники. Набросали вокруг себя веревок, чтобы скорпионы не могли поползти к ним и ужалить.

Добравшись неделю назад на остров, сапожники застряли здесь из-за путины. И, чтобы не тратить времени даром, практичные бухарцы весь день вчера стригли островитянам головы, подправляли усы и бороды.

Мимо спящих тихо прошел с кувшином вина осетин Владимир. Сапожники вечером пили у него в погребок, вот и думал Владимир, что, может, кто-нибудь захочет вина и ночью.

Поздоровавшись с Каипом, Владимир, грустный, поплелся к маяку распивать кувшин с приятелем своим, сторожем.

Каип стал раздеваться возле чистого, только что наметенного бархана.

Раздевшись догола, сел, закопал ноги в песок и принялся натирать тело, чтобы заиграла кровь перед дорогой.

Затем он добрых полчаса шлепал по мелкой воде, но, так и не найдя глубокого места, лег недалеко от берега.

Узелок с чистыми штанами и рубашкой, давно приготовленными на этот случай, старик оставил на берегу. Возле узелка сидел и смотрел на Каипа сын Ермолая Прошка, юноша лет четырнадцати с усталым взрослым лицом.

Отец послал его проведать Каипа и отнести ему рыбий жир, если старик болен.

Но старик не был болен. Прошка посидел один, поскучал и бросился в море к Каипу.

На сей раз Каип встретил его недовольным ворчаньем — старику хотелось быть одному.

— Ты что, следишь за мной? — спросил Каип, поднимаясь из воды.

— Отец велел напоить вас рыбьим жиром.

— На что мне жир? Беги обратно... Нет, постой, ты с причала?

— Да. Приезжал бригадир. Поругал всех и ушел.

— А лодки все на привязи?

— Все. Отец на карауле... Хотите половить рыбку? — лукаво заулыбался Прошка.

— А что? Ведь ловят же другие...

Прошка удивленно вскрикнул, все еще не зная, шутит Каип или же вправду решил воровать — за ним ведь никогда не замечали такого греха, даже в самые трудные дни.

— Ну, беги, — таинственно проговорил Каип, и по тону его Прошка решил, что старик действительно собрался на ночной лов и просит хранить это в тайне.

Отправив Прошку, Каип оделся и пошел к причалу, надеясь, что никто его больше ни о чем не спросит, не потревожит.

Все двадцать семей, живущих на острове, были в этот поздний час на молу. Семьи казахов и родственников им каракалпаков, таджиков, узбеков и уральских казаков, переселенных сюда сто лет назад.

Был часовым приказ: заметят в море катер или увидят, как хлопнула и загорелась в небе ракета, разбудить всех и выстушать.

Рыбаки должны направить свои лодки к дельте реки, к Северному островку, где дежурит председатель Аралов, и соединиться там с рыбаками соседних островов.

Никто не имел права действовать самовольно или же отлучаться в эти дни с острова ни под каким предлогом — за это было обещано строгое наказание.

Ждали, что огромный косяк рыбы пойдет мимо острова к дельте реки в нерестилища. Вот тут-то его и должны были подстеречь, окружить и выловить.

Недавно уже поднимали рыбаков по тревоге. Но, когда добрались к дельте реки, выяснилось, что надо возвращаться обратно по домам — то ли косяк ушел туда, где его меньше всего ждали, то ли летчикам от усталости просто что-то померещилось.

На узкой полосе мола теперь и варили, и ели, и спали, и любили. Калихан умер здесь вчера от старости.

Спрятавшись в камышах, Каип наблюдал за спящими, видел, как дремлет, держа перед собой тлеющий факел, часовой Мосулманбек — злой натуры старик.

Все же остальные не были видны в полумраке. И только по тому, кто в какой позе сидит, Каип узнавал их и вспоминал имена и клички — Кашча, Палван, Безбородый Ванька...

Почему-то вспомнил Каип, как приехал однажды бригадир на проверку и вот так же, спрятавшись в камышах, закричал

во всю глотку, чтобы подшутить над спящими: «Эй, Кашча!» — и выпала у старика из руки кость, которую он грыз, и уснул с ней. И все проснулись и захохотали, крича: «Кашча, Кашча!» — и толкали старика в песок, и тот, стыдась, пополз куда-то в темноту.

Слышно было, как трутся друг о друга боками лодки, как скрипят они, ударяясь носами от ветра. Самих лодок не было видно: спрятаны за камышами в бухточке, где сторожем Ермолай. Каип вышел из воды и неслышно подкрался к Ермолаю, сел. Чуткий Ермолай тут же очнулся и уставился на Каипа, заметив в нем многие перемены.

Глубокие, пораненные солью морщины чуть сгладились, на мертвых пятнах щеки, где ранее не росла борода, пробились черные волосы, а в глазах, с мольбой смотрящих на друга-часового, исчез желтый, болезненный цвет, и перестали они слезоточить.

— Что случилось? — заволновался Ермолай.

Каип не знал, с чего начать.

— Ты ведь, кажется, болен? — продолжал недоумевать Ермолай.

— Мне нужна лодка. Вернусь к утру, — сказал Каип.

Сказал и сам удивился, но не тому, что легко солгал, хотя уже не имел на это права, а тому, что Ермолай, не спросив ни о чем, согласно кивнул. Не знал старик, что Прошка после их разговора прибежал к отцу: «Вот видишь, отец, и дядя Каип теперь воровать собрался, а ты говорил — святой он...» — «Молчи, не понимаешь ты многого», — прогнал Прошку отец и, пока Каип пробирался к причалу, о многом передумал и, ничуть не осудив друга, задремал в тоске.

Ну что же, Каипу, верно, захотелось половить рыбу. С такими просьбами почти каждую ночь обращаются к часовым, и те, уверенные, что и сегодня лодки не пригодятся для путины, соглашаются помочь на свой страх и риск. И в виде мзды берут потом у ночных воров часть рыбы.

— Не успеешь ты до рассвета, — трезво рассудил Ермолай.

— Успею, успею, — заверил часового Каип. — Не беспокойся.

— Смотри! — для пущей убедительности сказал Ермолай, обиженный тем, что Каип не делится с ним подробностями своей ночной вылазки.

С трудом пробирались они к бухточке, путаясь в болотных растениях, которыми покрылась вся прибрежная полоса моря. Трудно было также и из-за паров, осевших в камышах, задыхались. Как только сгибали камыши, пар окутывал их с ног до головы, покрывая тела липкой желтой водой.

Раз на их пути повстречались люди. Отчаянно гребли они, пытались выбраться из камышей на берег, кричали и ругались и, чем больше нервничали, тем глубже запутывались в зарослях, теряя дорогу.

Каип спрятался, а Ермолай подошел к лодкам и начал переговоры.

Люди эти оказались рыбаками с соседнего острова, поднятыми ложной тревогой. Как и люди Песчаного, они ждали путину — и вот в полночь пришел приказ идти курсом к Песчаному, откуда якобы и должен пойти косяк.

Ермолай все толково объяснил соседям, и те, успокоившись, повеселели и повернули лодки обратно.

Еще долго были слышны их голоса в море, затем в тишине только плеск весел, а когда соседи уплыли далеко, кто-то из них запел.

Голос его, приглушенный и искаженный морем, был похож на крик заблудившейся птицы, потом все утихло.

Когда пришли в бухточку к лодкам, Ермолаю захотелось посидеть немного с другом, покурить, но Каип очень торопился. И показывал на небо, откуда подкрадывалось утро нового, тревожного для него дня.

Они выбрали большую крепкую лодку, освободили ее от



цепи. Каип упал, поскользнувшись об ил, рассек подбородок, но боли не почувствовал.

Далеко в море Каип наконец взобрался в лодку.

Ермолай не уходил назад. Он плыл за лодкой Каипа и подталкивал ее.

На острове, откуда Каип уплывал навсегда, последним приветом мерцал огонек факела.

Потом зажегся второй факел, третий, и вскоре на всем берегу замигали огни, споря о чем-то с высоким маяком на холме.

Когда Каип опомнился, Ермолая уже не было возле лодки. И только по тому, как вдалеке плескалась вода, старик догадался, что друг благополучно добрался назад, на остров.



Нет у Каипа времени ни сожалеть, ни предаваться воспоминаниям. Ни тем более думать о будущем — впереди все неизвестно.

Он плыл. Он знает в море каждый риф, каждую скалу и каждое течение.

Скоро лодка одолеет полосу, где остров омывается морем, обогнет треснувшую пополам скалу, на которой стоит слепой маяк, и дальше надо плыть по течению реки.

Всегда ленивая, эта река, впадая в море, образует быстрое течение, перекатываясь через пороги; поймав лодку, стремительно несет ее и кружится вместе с судном. Если хоть раз дрогнет рука или зазеваается рыбак, на третьем или на пятом круге можно оказаться выброшенным в море. Лодку опрокидывает вверх дном, а на рыбака наваливаются бревна и гнилые ящики. Нужно достаточно мужества и сноровки, чтобы спасти лодку.

Зато потом уже до самого Зеленого лодку саму несет другое, мирное течение — тишь и благодать!

Но и здесь отдых длится недолго. Впереди, в прибрежных водах Зеленого, лодку подстерегает более тяжкое испытание.

Рассказывали Каипу, что в иные дни во время приливов никак не удастся пристать к берегу. Идя ровно и быстро, лодка в какое-то мгновение срывается и бежит, бежит безостановочно, несет ее вокруг острова, не приближая и не удаляя ни на дюйм, словно что-то притягивает судно к себе и не отпускает, ждет, пока прилив не сменится отливом.

С берега, конечно, могут заметить лодку и выловить ее канатами. Но чаще всего на берегу возле лечебницы сидят больные. И единственно, что они могут сделать, — это звать других, здоровых, на помощь, если таковые бродят поблизости.

Никто не может объяснить, что происходит с течением в такие дни, но таких дней, к счастью, не очень много. Чаще всего вода вокруг Зеленого спокойна, даже мертва, и лодкам, пристающим к берегу, не грозит опасность.

Сделав два резких круга, лодка Каипа выбралась в безопасную зону, старик вынул весла из воды и, тяжело дыща, лег на дно — лихорадило. Он даже подумал, что, истратив последние силы на борьбу с течением, теперь не встанет — умрет раньше времени. А ведь старику хотелось о многом важном переговорить с самим собой, с этим морем, где прошла его жизнь, с рыбами, чайками.

«Он породил меня, пустил повидать свет и вот теперь сказал: ну довольно, возвращайся. Вот так и я позову сына. Видно, все мы в роду не можем друг без друга: будем плавать рыбами, собравшись в косяк», — подумал Каип об отце Исахе.

И сразу же из глубины сознания всплыло детство, то, что Каип лучше всего помнил, сохранил в себе, сберегая чистым и ясным.

«В тот год мы сидели без рыбы — в море был шторм...—

вспоминал старик. — Сейчас, видно, море устало: когда сердится, поползет на берег, потом, одумавшись, возвращается, забрав с собой самую малость — камни и ракушки... Подобрело море. А в тот год ему нужны были людские тела...

Отец лепил и обжигал кувшины. Потом топил в море — никто их не покупал. «Будет пророк наш, господин Сулейман, запечатывать в моих кувшинах джиннов», — мрачно шутил он...

Отец построил себе новый дом, а нас с матерью оставил в старом. Мать с ума сходила, хотелось ей ласки, но отец гнал ее. Странно, но у старух соки живут дольше, чем у стариков, к семидесяти годам к ним возвращается девичье сумасшествие.

В то утро, когда отцу вдруг приснился коршун, мы с матерью работали во дворе. Мать подумала, что уходит отец за хворостом, и приказала мне вынести ему веревку. Старухи никогда не знают, когда уходят их мужья. Впрочем, старики тоже. Я вот тоже не знал о моей старухе. Она умерла просто, так же просто, как и жила. Уснула — и умерла, не простившись. Старух, видно, никто не зовет. Мужчины хотят жить сами в своей второй жизни, бестелые и бесплодные...

Река была высохшая. Хрустела соль под ногами. Странно — отец шел, поглядывая на дно реки, боясь раздавить всяких жучков. А твари эти, жучки, осмелев, цеплялись за штанину отца и царапали ему ноги...

Вскоре отец пришел к тому месту, где обычно прятал силок. Он опустился на колени и освободил еле живого зайца. Казалось, что отец, как всегда, свернув шею зайцу, спрячет зверька за пазуху, радуясь удаче. Но он разорвал на себе рубашку, старательно перевязал зайцу пораненные лапы, положил на живое мясо корни саксаула для лечения. Затем просунул язык в горло зверька и напоил зайца влагой из своего тела... Заяц встал на лапы и, оглядываясь, ушел в пустыню...

За свою долгую жизнь отец истребил много всякого без-

защитного зверья, вырвал и сжег траву и кустарники, перерыл пустыню и выловил живое в море — жил, как и все пастухи, охотники и рыбаки, чтобы прокормить семью. И вот теперь, когда природа позвала его к себе, пришло к отцу желание хоть как-то искупить вину, хоть что-то восстановить в природе, сделать так, как было до него, будто он, отец, никогда и не был среди нас, людей...

Было страшно, — вспоминал Каип. — Я побежал к отцу, но он продолжал смотреть, как уходит заяц. Отец был уже наполовину мертв. То, что еще жило в нем, помогло отцу встать. Словно он еще надеялся. Словно не знал, что сильно добро живого, а мертвый все напугает и усугубит.

Так шел отец, поправляя кусты и освобождая разных тварей из плена, ветер же тем временем выдул из него все тепло и унес в пустыню, усиливая зной...

Я заплакал и бросился в поселок звать людей. И когда мы вернулись, отец уже лежал на песке и над ним кружились коршуны. Он даже не успел порадоваться. Ведь прилетели коршуны, чтобы съесть его труп и восстановить в природе разумное...»

Каип, забеспокоившись, с трудом приподнялся, сел и ухватился за борт лодки.

Прищурил глаза и вдруг отчетливо увидел Зеленый остров — огромную черную скалу в тумане.

Родина! Родина!

Среди камней и зеленых холмов здесь бьет родник, окруженный деревьями. И тем, кто привык уже к унылому образу моря, зеленый мир острова видится, как чудо, как плата за долгий путь и усталость. Ведь не зря здесь, на Зеленом, собраны со всего моря больные и немощные в одной большой лечебнице.

И еще слышны голоса людей, идущие не то с берега, не то из глубины острова, и как что-то большое, металлическое

работает зубчатыми колесами, как бьется жернов о камень. Одни только звуки...

А как там, у берега? Примет ли Каипа родина, или же лодку его бросит в стремительный бег вокруг острова? Умереть у врат родины — можно ли придумать человеку более постыдный конец?

Каип опустил весла и стал помогать лодке. Но от его движений лодка ушла в сторону — ей надо самой плыть навстречу неизвестному. И человек тут не помощник.

Каип лег, вновь почувствовав усталость. Все, что должно быть, будет, решил старик, на большее рассчитывать не приходится.

Так лежал он с закрытыми глазами, и по тому, как брызги запрыгали ему на лицо, Каип понял, что течение начало меняться...

«Только бы успеть ее повидать, — подумал Каип. — Выйду на берег... Она должна быть уже очень старой. Тот рыбак говорил, что она бродит возле больницы, предлагая копченую рыбу. Там я и найду ее... Хорошо, что я успел позвать сына обратно на остров, к жене. К старости я, кажется, подобрел. Но добреем мы уже тогда, когда устаем от суеты. Поздно добреем... Интересно: все ли, кто совершил когда-то подлость и предательство, все ли терзаются? Или есть и такие, в ком совесть давно умерла? А сами они уходят в могилу пустыми и бездушными. Как будто с них уже никто ничего не спросит...»

Неожиданно старик услышал странный гул — лодку сильно качнуло, понесло в сторону. Раздался отчетливо чей-то голос: «Стой, стрелять начну!» — и за бортом затрясся высокий, как скала, черный предмет.

Каип хотел подняться, но не смог. Лодку снова тряхнуло — и старик упал, ударившись головой о днище. В лодку полетел канат и последовал приказ:

— Завязывай!

Каип, повинувшись, взял канат, но от неожиданности, потеряв всякую сообразительность, не знал, что и куда завязывать. Лучше бы ему приказывали и направляли.

За бортом, видно, это поняли, стали ругаться:

— Ты что медлишь? Быстрее! Да так... ползи. Не выпускай канат, слышишь? К носу, куда пополз?! Теперь завязывай! Не так! Узел делай, узел...

Канат, привязанный к носу лодки, натянулся. За бортом снова загудело, и лодку Каипа понесло куда-то.

Спасение, обрадовался старик, спасение! И подумал, что его, должно быть, заметили с Зеленого и пришли на помощь. Видно, такова у них профессия, переправлять лодки через опасности — лоцманы.

Каипу стало стыдно — он лежит, а они работают на него. Решил подняться и хоть чем-то помочь. Но сколько старик ни пытался встать, волны били его в лицо и снова валили на спину.

Каип успел только заметить, что везет лодку катер.

Когда с катера шли приказания, казалось, что дают их десятки людей. Сейчас же катер почему-то был пуст.

Куда же подевались люди? Возможно, исполнив свое дело — взяв лодку Каипа на буксир, — все они спрыгнули в воду и решили следовать за лодкой вплавь. На всякий случай. Ведь может же быть такое — от большой скорости Каип вывалится из лодки, а люди эти тут как тут, не дадут ему утонуть

Только плывут они что-то долго. Каип уже много раз ударялся головой о борт и чуть не терял сознание. И лишь надежда спасала старика от отчаяния.

За это время можно было бы уже добраться к Зеленому.

Что же тогда произошло? Может, и большие катера в прилив не могут пристать к берегу? Может, не случайно люди покинули катер, чтобы капитан сам выпутывался из сложного положения?

Каип хотел что-то сделать, хоть как-то помочь капитану, сделать все, чтобы не сдаться, и умереть лишь в том случае, если борьба станет бессмысленной...

## IV

А катер тем временем благополучно приплыл к одному безымянному островку, отмеченному в донесениях номером К-34. Остановился, войдя в бухточку. Покачнувшись, остановилась следом и лодка Каипа.

— Вылезай! — было приказано.

Каип повиновался. Все еще кружилась голова.

Человек, давший приказание, ростом почти в два раза выше Каипа, стоял уже в воде с ружьем. В случае, если Каип вздумает бежать, он сделает предупредительный выстрел.

— Выходи на берег. И не вздумай шутки шутить. Не может.

Окончательно рассвело.

Каип разглядывал островок, пытаясь понять, куда его привезли. Голый маленький островок, шагов пятьдесят в длину, с маяком и единственным белым домиком возле холма сразу вспомнился старику.

Человек — Каип его никогда ранее не встречал — прыгнул в лодку. Стал в ней шарить, бросив весла с носа к корме.

— Все-таки успел выбросить в море, — сказал он, продолжая что-то искать.

Старик даже и не пытался понять, чего он хочет. Был равнодушен ко всему.

— Ага! — обрадовался Али-баба (так звали незнакомца). — Единственная, но очень важная улика. Вот она! — Нашел маленькую, с мизинец, дохлую рыбешку, видимо прибитую волной, и показал Каипу, чтобы и старик убедился. Затем аккуратно, словно это была поднятая со дна моря

золотая царская монета, завернул находку в носовой платок и спрятал.

— Видел, какая она маленькая? — продолжал Али-баба. — Зато ее вполне достаточно, чтобы посадить тебя на целых два года!

Каип, выслушав странного незнакомца, первым пошел к берегу — надоело стоять в воде.

— Ты куда это? — бросился за ним Али-баба. — Самовольничаешь? Стой! Пойдешь, когда я тебе прикажу!

Пока он возмущался, Каип уже ступил на берег. И Али-баба подумал, что теперь нет смысла возвращать его обратно в воду.

На острове Али-баба снова побежал вперед, приказывая Каипу:

— Ступай за мной! Отсюда ты уже никуда не убежишь. А если и сбежишь, утонешь в море. Тебе что выгоднее — смерть или два года тюрьмы?

Каип решил не утруждать себя ответами, поняв наконец, что перед ним сам рыбнадзор — страж моря.

— Молчишь? — возмутился Али-баба. — Ничего, заговоришь там, где нужно.

Только раз появился у Каипа интерес к этому человеку, но потом старик снова заскучал, найдя незнакомца глупым и заносчивым.

У входа в белый домик было прибито на шесте чучело беркута. И как только хозяин открыл дверь, чтобы войти, беркут покачнулся и потерял перо.

Внутри домика в единственной его комнате стоял стол, а на столе рация. В каждое из четырех окон были вставлены приборы, чтобы обозревать море в шторм или в случае, если рыбнадзору лень выходить наружу.

— Вот здесь моя крепость, — сказал Али-баба, садясь за стол. Сказал он это с теплой, человеческой интонацией, радуясь тому, что старик делит с ним одиночество.



Каип в ответ кивнул, как бы одобряя его житье-бытье.

— Так вот, — сказал Али-баба, вынимая и раскладывая на столе платок с рыбешкой-уликой. — Ты кто и откуда? — Он внимательно разглядывал старика, стараясь припомнить, задерживал ли он еще когда-нибудь этого рыбака. — Молчишь? — Он действительно никогда раньше не встречал этого рыбака и посему еще больше нахмурился, думая, что, если он никогда раньше не ловил этого рыбака, значит, воровал он до сего времени безнаказанно. Вот почему старик ведет себя независимо, чувствует превосходство.

Ладно. Али-баба решил мстить ему и за прошлые не раскрытые преступления, которых, он уверен, много на совести Каипа.

— Вот такие, как ты, разбазарили все море! — сказал Али-баба. — Где наши знаменитые лещи? Где сазаны? Усачи? Отвечай!

Каип стоял и смотрел в окно и только обрывками слушал Али-бабу. Он никак не мог сосредоточиться. Только раз подумал о чем-то связанно, подумал, что ему безразлично, за кого его принимает незнакомец. Совесть Каипа чиста, и следовательно, все, что говорит здесь Али-баба, не относится к нему.

— С какого ты острова? — спросил Али-баба.

И, когда Каип назвал, Али-баба тут же связался с Песчаным по радио.

— Послушай, — сказал он бригадиру, — тут твой один сидит. Сейчас составлю протокол и отвезу в Акчи. А ты там проведи с остальными воспитательную работу, понял?

Выслушав Али-бабу, бригадир Непес в сердцах выругался, и Каип так и не понял, к кому относится его ругань, хотя и очень напрягал слух, потому что голос по радио был голосом, пришедшим с Песчаного.

Конечно, каждый такой пойманный на руку ему, Али-бабе. Если к концу сезона остров не выполнит плана, Али-

баба встанет и снажет на совещании: вся рыба ушла в руки воров и виноваты в этом прежде всего бригадыры и председатель: плохо ведут воспитательную работу.

— Хорошо, — ответил Непес. — Сейчас же соберу своих для беседы... Но послушай, Али-баба, ты ведь знаешь, что путина...

— И не проси, — прервал его Али-баба. — Все равно не отпущу! Хватит! Не могу же я каждый раз нарушать закон...

— Обещаю, — пришел ответ по радио. — Как только проведем путину, сразу же начнем против него расследование. Прошу тебя, отпусти под расписку. Каждый рыбак и каждая лодка на учете — с меня три шкуры сдерут.

— Нет, на этот раз все будет по закону! Распустили, понимаешь, людей... — То ли от искреннего возмущения, то ли от желания подчеркнуть свою власть Али-баба резким движением выключил рацию, прервал разговор.

И сказал, повернувшись к Каипу:

— Слышал, судить тебя будем. Сейчас составлю протокол и отвезу тебя в Акчи, — последнюю половину фразы он произнес медленно, обдумывая что-то.

А обдумывал Али-баба — стоит ли на самом деле везти старика в Акчи. Надо составлять протокол, вытягивая из этого неразговорчивого старика слово за словом. Затем посадить его на катер... На дорогу уйдет два с лишним часа, и только к полудню он сможет сдать Каипа милиции. По правилам, рыбнадзор может сам вызвать на остров береговую милицию, но обычно по таким пустяковым делам она приезжает раз в три-четыре дня. Ведь браконьер — не убийца, можно не спешить.

Предположим, Али-баба все же повезет старика в Акчи, но где гарантия, что милиция слово в слово не повторит сказанное бригадыром Песчаного — следствие начнем после пу-

тины, а сейчас, взяв у старика расписку, отпустим, пусть поработает еще.

Все в эти дни подчинено одному — путине, и посему в законы и правила можно внести поправки. Лишь бы ничто не мешало удачному лову. Заводы Акчи ждут рыбу...

Подумав обо всем этом, Али-баба снова вызвал по радио Песчаный.

— Слушай, ну что там слышно о косяке? Когда он уже, окаянный, двинется в наши края?

— Пилоты обещают, скоро, — был ответ Непеса, — с часу на час...

— А что там в косяке — лещ?

— Кто знает? Если бы только лещ, брат, мы бы все планы покрыли по ценной породе.

— Должен быть лещ, должен, — убежденно проговорил Али-баба.

— Дай бог. С первого же улова пришлю тебе попробовать, — обещал Непес и спросил: — А как зовут его, задержанного?

Каип назвал себя.

— Каип, говорит. Есть у тебя такой?

Бригадир снова выругался в сердцах. И обратился к старику:

— Что с вами, отец? Никогда ведь вы?.. — спрашивал Непес растерянно. — Мы вас в пример ставили, честность вашу и святость... Судить вас теперь будут...

— Ты брось с ним таким тоном! — прервал душеизлияния Непеса Али-баба. — С лучшего рыбака и спрос должен быть строгим. Что его толкнуло на преступление?

Каип хотел ответить Непесу, но потом передумал, считая, что ему, невинному, унинительно оправдываться.

— Прав ты, Али-баба, судить его надо, — согласился Непес, чтобы не осложнять дело. — Только почему он мол-

чит? Заставь его сказать что-нибудь. Жив-здоров ли он там? — заволновался Непес.

Зная, что Непес вполне искренен, Каип тихо сказал из своего угла:

— Жив я, Непес...

— Слышал? — передал в эфир Али-баба.

— Пусть он только вернется на остров, — пригрозил Непес. И хотел выключить радио, ибо все это осточертело ему.

— Постой, постой! А как он будет добираться обратно, об этом ты подумал?

— Пусть на своей лодке и возвращается, — был ответ с Песчаного.

— Сбежит, ответишь сам.

— Возвратится. Он человек совестливый! Ругать себя будет за этот случай.

— Пусть ругает. И мы со своей стороны добавим, — сказал Али-баба.

— Это само собой. Прощай!

...Время уже близилось к полудню, а Каип все еще был гостем Али-бабы, вернее, его пленником. Всякий раз перед тем, как увезти браконьера в Акчи, Али-баба знакомил его с островом, месторасположение и очертания которого составляли особую гордость хозяина.

— Если бы ты вздумал бежать, старик, утонул бы в море, — сказал Али-баба, приведя Каипа на южный берег острова, который неожиданно обрывался с возвышенности. — Видишь, как здесь высоко. Если бы ты, допустим, прыгнул — покалечил бы себе ноги. Смотри, там, внизу, торчат из воды острые камни, — рассказывал Али-баба. — Значит, этот берег не годится тебе. Пошли дальше.

На другом берегу, куда они пришли, Али-баба показал

на песчаный холм. Холм, ослепительно белый, резал до боли глаза.

— Это окаменевшая соль на вершине, — объяснил Али-баба. — Допустим, ты все же убежал от меня и стал карабкаться наверх. И вот тут-то эта соль и порезала бы твои руки. Видишь пятно на склоне? Это кровь. Того самого беркута, которого ты видел возле моего домика. Одурманенный парами моря, беркут этот упал с вершины мертвый...

Каип от усталости сел на песок, обо всем это он знал давно. Али-баба же продолжал с удовольствием знакомить его с островом-ловушкой, так удачно сотворенной морем.

— Единственное место, откуда ты смог бы убежать, — сказал Али-баба, садясь рядом с Каипом, — это пристань, где стоит мой катер. Там нет никаких преград, море близко и глубоко. Заманчиво, правда?.. Но это лишь на первый взгляд. Метрах в пятидесяти от берега крадется незаметно течение. Вначале тебе покажется все приятным, течение само несет твою лодку, не надо напрягаться, работать веслами — благодать! Так продолжается долго, очень долго. И вот когда твоя бдительность окончательно усыплена и ты, может быть, даже сладко задремал, течение неожиданно подхватывает лодку, переворачивает ее раза два и — о ужас! — делает твоим гробом...

## V

Каип продолжал плыть к Зеленому острову.

Казалось старику, что теперь никакие случайности и нелепости не отклонят его лодку от курса. Был уверен, что пойманный раз Али-бабой, не встретит его вторично.

Могут быть другие, естественные преграды, например течение, подводные камни или мели, но людей опасаться теперь нечего. Разве что Непеса: обеспокоенный долгим отсутствием старика, он может послать на поиски баржу. Но может и не послать. В суете, готовясь к путине, забудет.

Каип покинул островок Али-бабы в полдень, когда море было грязно-матовое, с черными от волн пятнами. Временами, когда ветер утихал, море устало замирало и напоминало студень, разрезанный на куски, — это шевелились мелкие течения. И по мере того как море мелело, таких течений становилось все больше.

Каип не отдыхал теперь. Только иногда наклонялся, чтобы черпнуть за бортом воду и протереть лицо — кружилась голова. Очень хотелось есть.

Но кто мог знать, что путешествие продлится так долго? Каип взял бы с собой еды и питья.

Долго море было пустынно — даже чайки не летали. Оно навевало грусть и воспоминания — от них Каип, как и от самого себя, не мог никуда убежать.

«Случилось это году в четырнадцатом, во времена баев и хозяев. Тогда многие русские уплыли в Россию воевать. Увозили с собой и наших. Меня же оставили кормить мать. Сколько же мне было? Двадцать, а Айше, значит, восемнадцать... Каримбаю сейчас было бы столько же, сколько и мне...

Когда сын господина заводчика приезжал из Акчи к нам на остров, я всегда боялся чего-то и от волнения становился дерзким и говорил глупости Айше. А однажды даже приказал матери спрятать ее в хижине. Имел право убить ее, мою невесту. И за ее будущие страдания отдавал отцу Айши пол-лодки рыбы в месяц...

Каримбай приезжал к нам поохотиться и половить рыбу. И видно, не столько он сам, сколько двое дружков его, огромных и молчаливых юношей в дорогих одеждах, с кривыми бухарскими ножами за поясами, наводили на меня страх...

Каримбай, сын господина заводчика, был юношей добрым, с хорошими манерами. Он всегда привозил с собой полную лодку подарков, разных разностей, которых никто у нас

на острове никогда не видел: водку — старикам, фрукты и конфеты — детям, бусы и мануфактуру — женщинам, все, что продавали тогда в лавке его отца в Акчи. Каримбай собирал народ на поляне и раздавал всем подарки. И люди, удивляясь его доброте и щедрости, брали каждый свое и расходились...

Мне он однажды подарил часы и объяснил, как ими пользоваться. Часы эти сейчас покоятся на дне моря где-то между Зеленым и Песчаным...

Судя по всему, Каримбай не любил своего отца. И однажды сказал людям, что, когда отец умрет и он станет заводчиком, купит у русских крепкие быстроходные суда для нас и будет платить за рыбу в два раза больше — тогда все на Зеленом разбогатеют, не будет голодных и больных...

В тот свой последний приезд он подарил Айше длинные бухарские серьги. И мне показалось, что он как-то по-особому был внимателен к ней. И еще эти его дружки стали шептаться между собой, хихикать, потеряли спокойствие, засуетились...

Когда они ушли в глубь острова поохотиться, я позвал Айшу в заросли саксаула за родником. Не помню уже, что я тогда говорил ей и чего требовал. Может быть, чтобы она выбросила его серьги, не помню. Главное, мне надо было отругать ее, неважно за что. Как всегда, я очень нервничал...

Ссорились мы с ней часто, особенно с тех пор, как на остров стал приезжать сын заводчика, виной всему был мой беспокойный, вспыльчивый характер. Айша всегда безропотно слушала мои жестокие, несправедливые упреки. Тихо плакала, уйдя куда-нибудь в заросли подальше от людей...

В тот роковой день она с тоской и мольбой смотрела на меня, прося быть справедливым. Видно, душа ее была полна дурных предчувствий...

Натура ее была более тонкой, чем моя. Она предугадывала многое из того, к чему я был глух. Чувствовала приближение лунного затмения, несчастья, вся жила в природе, близко к богу...

Я наговорил Айше много обидного. И, оставив ее в густых зарослях, ушел на поляну и лег там на песок, ожидая, что Айша, как всегда, придет ко мне просить прощения...

День был душным. С моря выползали пары и стелились низко над песком. Вокруг меня прыгали лягушки, согнанные парами из воды. Услышав их жалобные голоса, вылетел из зарослей и закружился надо мной коршун...

Солнце и пары расслабили меня, а лягушки усыпили, я задремал. Я не спал, но и не бодрствовал, и, как обычно в таком состоянии, меня стали посещать разные видения — чьи-то искаженные лица, хромающая лошадь вошла в воду и поплыла, тревожно подняв морду. Я вздрагивал, просыпался и снова погружался в дрему...

Пролежал я в таком состоянии не более часа. Забеспокоившись, поднялся и посмотрел вокруг — стояла та особая тишина, когда даже собственный страх становится звучащим...

Я попытался позвать Айшу, но губы и горло высохли во время сна, голос пропал, и вместо крика вышло бормотанье...

Я пошел в заросли, к тому месту, где оставил Айшу. Мучила жажда. От легкого движения кружилась голова, одурманенная парами. Я ругал себя, что, поддавшись слабости, задремал на песке...

Меня окружали голые серые кусты саксаула. Кусты давно высохли и, окаменев, стали еще более крепкими, и ветер облетал их стороной. Я понял, что заблудился: шел уже долго, но никак не мог найти той маленькой поляны, где мы сидели с Айшой...

В том месте, где я оказался, кусты стояли так густо, что закрывали все в двух шагах. Сделал два шага, но дальше все опять закрыто наглухо. И тут я оказался лицом к лицу с Каримбаем и его друзьями, вышедшими ко мне из зарослей...

Мы с Каримбаем растерялись. Зато у друзей его при виде меня лица замкнулись, ничего не выражая, и только в уголках глаз я прочел... Кажется, усмешку и презрение...



Я кивнул им и решил броситься в сторону. Но не успел сделать и движения, как Каримбай стал убегать, ломая кусты, словно был перед ним сам дьявол...

Я стоял пораженный. Дружки вместо того, чтобы пуститься за сыном хозяина, так же молча, усмехаясь, смотрели на меня... И я понял, что они задумывают что-то злое. Я бросился перед ними на колени, умолял и просил пощадить...

И тогда они пощадил меня. Оттащили в сторону, подняли на ноги и толкнули далеко в заросли. Я упал лицом в песок и тут же вскочил, чтобы бежать. Вокруг защитной стеной стоял саксаул — не было слышно ни криков, ни голосов. Я счастливо избежал побоев...»

...Каип, встревоженный, вынул весла из воды. Радуюсь тому, что так удачно ушел от Али-бабы, он даже и не подумал, в ту ли сторону ведет свою лодку.

Казалось, можно плыть по течению и оно приведет лодку к Зеленому. Лодку чуть клонит в сторону, значит, плывет верно...

Теперь же, когда прошло много времени и Каип увидел на горизонте очертания незнакомого острова, понял, что заблудился.

Каип стал думать, как быть дальше: плыть ли к незнакомому острову или же поворачивать обратно. Вернувшись к Али-бабе, он попросит связать его с Песчаным. И пусть Ермолай придет за ним. Сам Каип может окончательно выбиться из сил без еды и питья. Оттуда они вместе поплывут к Песчаному, а ночью Каип снова отправится в путь к родным берегам.

Нет, все это неразумно. Рыбнадзор Али-баба опять в чем-то его заподозрит. И неизвестно, сколько времени продержит у себя.

Будь что будет — Каип поплыл к острову. Чужим рыбакам нет до него дела. Чужие ни о чем не спрашивают, ни

в чем не подозревают. Каип узнает, куда ему плыть, чтобы попасть к Зеленому. И попросит поесть.

Не желая приставать к берегу, Каип остановил лодку в прибрежной воде, лег и стал наблюдать за островом и за людьми в лодках и баржах.

Остров был белый и ровный, как кусок льдины. В отличие от Песчаного, тихого и малолюдного, здесь была заметна жизнь — работали две-три машины, разгребая соль, а лодки и баржи отвозили ее куда-то.

Когда одна из лодок приблизилась, Каип спросил, не знает ли кто, в какой стороне Зеленый.

Люди в лодке заспорили: один показывал направо, другой налево, вспоминали, как везли туда соль и еще что-то, спорили долго и чуть не передрались между собой — так хотели помочь Каипу.

Слушая их, Каип понял, что, в сущности, никто из них никогда и не слышал о таком острове. Тогда, может быть, уважаемые покажут ему путь к Песчаному?

К Песчаному? Конечно же! И опять заспорили, показывая в разные стороны: один — в сторону Акчи, другой — на север, в сторону казахских степей.

Спор кончился лишь после того, как каждый угостил Каипа куском хлеба и жареной рыбы, дали ему и кувшин воды. И еще предлагали старику остаться на острове переночевать. А завтра с новыми силами он сможет продолжить поиски.

Каип поблагодарил их и поплыл дальше.

Он впервые поел за это время — руки дрожали, когда отламывал хлеб, не жевал, а глотал пищу.

Только счастливый случай мог привести теперь его лодку к Зеленому или Песчаному.

Отплыв далеко, Каип оглянулся и вдруг вспомнил, что уже раз проезжал он мимо Соленого острова.

Было это очень давно, в детстве, когда отец, незадолго

до смерти, решил объездить с сыном все острова, чтобы поглядеть на родину и проститься с ней.

Тогда в первое свое путешествие Каип не встречал на Соленом людей — теперь человек поселился и на Соленом, занявшись новым промыслом.

Море здесь жило полной жизнью — над лодкой Каипа молча кружились чайки. Видно, проследили путь рыбы и, чтобы скрыть свою тайну от человека, старались не тревожить его криками.

Вскоре Каип увидел еще один обжитой остров. На берегу, опустив ноги в воду, сидели два старика, судя по всему, странники. Они дремали после длинной дороги. Потом появился третий и стал вытаскивать из лодки на берег мешок. Он долго развязывал его, развязав, вынул сухую лепешку. Разделил ее на равные три куска и стал будить товарищей.

Проснувшись, те стали ворчать на третьего, махали руками, но потом успокоились и принялись есть лепешку.

Потом и эти трое скрылись из виду.

До вечера Каип успел проплыть мимо десятков островов, больших и малых. Многие из них были знакомы старику еще по первому путешествию, но попадались и голые, безлюдные, появившиеся на свет недавно.

Это были крохотные островки, бывшие рифы и подводные скалы, поднятые на поверхность вместе с водорослями и рыбами; ветер не успел еще сдуть все это в море, и старику казалось, что, услышав шум весел, водоросли поднимаются, чтобы поглядеть на того, кто их потревожил.

Каип, как правило, объезжал эти острова, рассматривая берега со всех сторон, ему было интересно поглядеть на места, бывшие еще недавно морским дном: ведь дно — это кладбище лодок и людей.

На больших островах, заметил Каип, жизнь за полвека рыбацкой власти во многом изменилась. Там, где некогда ползли пески, появились новые поселки и заводы. У прича-

лов стояли баржи и суда покрупнее, груженные солью, оловом, гранитом. И там, где больше не ждали чуда от моря, а занялись новыми промыслами, было видно оживление и чувствовался достаток.

Уже исчезли на островах у дельты реки те страшные болота, пары которых разносили в старину из селения в селение чуму. Болота были осушены и засеяны рисом.

Так плыл Каип от острова к острову, замечая всюду перемены.

А те, кто с берега наблюдал за одинокой лодкой и видел в ней худощавого старика с длинной бородой, в белой одежде, спорили и гадали. Одни утверждали, что это обыкновенный браконьер, и удивлялись его храбрости — ведь воровать рыбу днем так же рискованно, как, скажем, плыть в бушующем море.

Другие считали, что это один из тех, кто решил на свой страх и риск искать трех пропавших без вести рыбаков, ушедших на лов неделю назад.

Многие просто терялись в догадках, не зная, что и думать. И кричали вслед лодке Каипа.

Каип не слышал их. Он снова ушел в себя искать не утешений, а истины.

«Я бежал, пробивая себе дорогу сквозь заросли. И только к вечеру, добравшись до дома, заметил, как опухли лицо и руки — мать вынула из моего тела множество колючек и шипов саксаула, когда клала на раны примочки...

Бежал я долго. Обессиленный, остановился на поляне и упал. Страх прошел. Теперь мог спокойно подумать над тем, что увидел в зарослях. Я никак не понимал, что же случилось с Каримбаем и почему он вдруг испугался. И почему дружки его, верные телохранители, вели себя так странно. Может, хотели избить меня за то, что стал я невольным свидетелем слабости хозяина? Чтобы никому не проболтался...

Волнение мое было столь сильно, что я не подумал об

Айше, которую оставил здесь, в зарослях. Я был занят собственными горестями...

Сидел я так до тех пор, пока не услышал рядом чей-то слабый стон. Да, кто-то стонал. Это был стон человека... Я не мог подняться на ноги, стал ползти то в одну, то в другую сторону. Просовывал голову в заросли, смотрел, потом отползал назад. Там, где в зарослях было темно, щупал кусты руками, схватил нечаянно черепаху, закричал и с омерзением отшвырнул ее, хотя никогда ранее не боялся черепах...

Недалеко что-то треснуло. Я пополз туда и в ужасе отпрянул — в кустах лежала и стонала женщина в разорванной одежде...

Я не сразу узнал Айшу. Уговаривал себя, что это не она. Нет, нет, это дурной сон. Я звал ее, другую, мою Айшу. Кричал, но в ответ слышал лишь стон той, которая лежала в кустах...

Вдруг все кончилось. Все звуки, утих ветер. Кругом была какая-то душная пустота. Все стало мне безразличным. Что-то отпустило меня, ушло, и я безропотно простался с тем, что держало мою душу полной и горячей. Почувствовал себя страшно опустошенным...

Айша смотрела на меня, но во взгляде ее не было ни страха, ни мольбы, ни прежней преданности. Была одна лишь усталость...

Я просидел возле нее до утра...»

Ночью на горизонте вспыхнуло множество огней, и Каип понял, что лодку его принесло к городу. Судя по рисунку огней, была это столица рыбаков — Акчи.

## VI

Издали поглядев на порт, Каип решил поворачивать обратно. Находиться здесь было небезопасно — могли заметить. Но и уйти теперь отсюда трудно. Мимо лодки то и дело про-

носились сейнеры и баржи, гудели, предостерегая старика, звонили, направляя ему в глаза фонари.

А один раз на лодку Каипа чуть не наскочил небольшой пассажирский пароход. Потом появился и сторожевой катер. И оттуда кричали что-то в рупор Каипу.

Старик греб то в одну, то в другую сторону, но отовсюду его гнали, всем он мешал.

Каип уже совсем отчаялся, проклиная себя за неповоротливость. Но, благо, его заметили с баржи из Песчаного, узнали.

— Дядя Каип! — прозвучало как спасение.

Каип оглянулся и среди множества судов нашел баржу, откуда махал ему Прошка.

Каип подогнал лодку к его барже. Прошка спустился к старику, чтобы помочь привязать на буксир лодку. Всегда спокойный и уравновешенный, как отец, Прошка сейчас безмерно суетился, не сводя со старика преданных глаз.

— Обычно ведь отец приезжает сюда за солью, — говорил он тоном совсем взрослого человека. — Но вчера его отстранили, когда узнали, что в ту ночь он дежурил возле лодок. Послали отца искать вас. Был большой скандал из-за лодки, — Прошка деловито осмотрел лодку со всех сторон и, убедившись, что осталась она в целостности-сохранности, стал рассказывать дальше: — Сегодня вечером я должен был плыть назад. Но потом вдруг подумал, что, если вы потерялись в море, вас обязательно прибудет к порту. Вот и остался. Здесь столько лодок возле порта, голова кругом идет! Днем ждут путину, а ночью спят в море. Вы не знаете, дядя Каип, началось или нет? Боюсь, как бы мы с отцом не прозевали...

Прошка помог старику взобраться на баржу...

И сказал тоном, каким говорил обычно Ермолай:

— Ну, с богом! Хорошо, что лодка осталась целой. Все, что ни делается, к лучшему!

Старая баржа загудела из последних сил и отплыла, ведя за собой лодку Каипа.

Прошка то и дело высовывался за борт и кричал, стараясь развеселить Каипа:

— Ты что, рыбий глаз проглотил, как пьяный? Да, да, это я тебе говорю, приятель! Не лезь, самоубийца, под баржу! Побойся бога!

Каип блаженно сидел в углу, слушал Прошку.

Потом старик погрустнел, вспомнив о том, что солгал Ермолаю. Плывет друг сейчас где-то в море, освещая фонарем все, что чудится ему пропавшей лодкой, бревна, гнилые ящики, переговаривается со всеми, кто попадает на пути, спрашивая, не встречали ли они ошалелого, дурного, глупого старика, не умеющего ни лгать, ни воровать по-человечески, страдающего самого и заставляющего страдать других, сказал, к утру вернусь, и вот уже вторые сутки носит его где-то дьявол.

На Песчаном сыр-бор. Все только и говорят о случившемся. Те, кто сам воровал рыбу, удивляются теперь и осуждают Каипа: как это он посмел? Выбрал время — всех лихорадит из-за путины, каждая лодка на учете и каждый человек на виду.

Эх-хе-хе, благородный, мудрый Каип, муху никогда не обиженный, лучший рыбак Песчаного — вот он, полюбуйте, ворованной рыбки захотелось. Значит, святые и благородные — они всегда внутри гнилые...

Да, непременно скажут так на Песчаном. Лгал он, конечно, по мелочам, как солгал вчера Ермолаю, без этого не обойтись, живя среди людей. Но мелочей не замечали, прощали, а тут крупное вылезло наружу, скандальное...

Прошка давно умолк — значит, баржа вышла из залива в море, в безлюдные воды.

Каип решил поспать. И перед тем как лечь, спросил Прошку: долго ли им плыть до Песчаного?

— К утру как раз и будем, — ответил Прошка. — Вы спите, а я буду смотреть в оба. Может, отца тоже подберем. Он, верно, уже из сил выбивается.

— Он уже на острове, — сказал Каип, чтобы успокоить Прошку.

— Нет, — возразил Прошка. — Сказал — не вернусь, пока не найду Каипа. Вы же знаете, отец страшно упрямый... Но только я оказался упрямее — первым нашел вас...

— Хорошо... — похвалил его Каип и, постелив мешковину, лег.

И как только закрыл глаза, зазвенело и загудело в ушах, запрыгали волны перед глазами, зарябила вода и поплыли белые острова... острова... Чьи-то лица смотрели на него, улыбались, корчили рожи, подмигивали многозначительно, будто собирались сообщить важное для Каипа — словом, пришло все то, что видел старик вчера и сегодня в море.

Такого с ним никогда не случалось раньше — глаза были привычны к морю, оно уже давно не снилось.

Картина исчезла, когда Каип открыл глаза, хотя звон, намного ослабленный, еще продолжался в ушах.

Это была не просто бессонница, это было беспокойство, кошмар, навеянный воспоминаниями об Айше. И Каип подумал, что уже сегодня ночью умрет.

Старик встал и, покачиваясь, взобрался к Прошке в будку — нужно сейчас, чтобы какое-то живое существо было рядом.

Каип увидел, как лучи прожекторов с трудом пробивались сквозь туман — море и ночью не переставало испаряться.

Но баржа шла легко, и Прошка не боялся на что-либо наскочить. Поэтому не звонил он в колокол и никого не тревожил...

Зато другие, невидимые, суда звонили вовсю, сигнала, и звуки эти напоминали Каипу о звоне привратников у порога ада.



Но сейчас старику, как никогда, хотелось жить. Ему нужны еще по крайней мере одни сутки. Всего одни сутки, вот эта ночь и завтрашний день.

— Долго ли человек может продержаться в море без воды? — спросил Прошка, тревожась об отце.

— Можно выпить рыбий сок, — ответил Каип.

— А от усталости?

— Каким бы человек ни был усталым, течение прибьет его лодку к берегу.

— А рифы? А подводные скалы? — не унимался Прошка.

— Рифы страшны только большим судам. Не лодкам.

— Выходит, человек не может умереть в море... Тогда как же?

— Человек умрет, если он сам себе враг, — уклончиво ответил Каип.

— Отец никогда не был себе врагом, — заключил Прошка. И, подумав, спросил: — Неужто вы не устали, дядя Каип? Спите. Завтра может начаться путина — будет всем не до сна. А если и не начнется, все равно найдется работа. Соль заставят крошить. Сядем на берегу и будем крутить маленькие жернова. Ну те, что для рыбьей муки... Подойдут, дядя Каип?

Каип кивнул — мол, подойдут и те, что для рыбьей муки.

— Отцу бы, конечно, дали в Акчи размельченную соль. Его там знают на складе. А меня вот провели за нос. Ну ничего...

— Послушай, Прошка, — перебил его Каип. — Ты должен хорошо знать остров Зеленый...

— Конечно, знаю! — удивился Прошка. — И не раз подплывал к нему. Знаете, там лодки гибнут...

— Есть туда прямая дорога?

— Нет, только через Песчаный. Другого пути не знаю.

— Подумай хорошенько, Прошка.

Прошка помолчал и сказал:

— Подумал, дядя Каип... Можно было бы попробовать отсюда к Зеленому, а потом домой. Но боюсь, к утру не успеем. Скажут, отец скрылся, а теперь и сын — вся семья ненадежная.

А что, если действительно попытаться? Каип сам поведет баржу, обойдет рифы и скалы. Правда, все в море будто сговорились. Никто толком не объяснит, не покажет дорогу на Зеленый, словно догадываются, зачем добирается туда старик — не хотят, из добрых чувств, чтобы Каип покидал мир рыбаков и охотников, простых людей. Простые люди не в тягость друг другу...

Знал Каип, если вернется сейчас на Песчаный, навряд ли сможет потом уехать до самой путины. Непес прикажет сторожам под страхом смерти не давать старику лодку. Посадят Каипа толочь соль, заставят таскать мешки и вязать сети — и будет он все это добросовестно выполнять, пока однажды не упадет, поскользнувшись...

Скорее на Зеленый, любимыми путями, не боясь ничего и не останавливаясь ни перед чем!

Как все-таки быть с Прошкой? Если он к утру не приведет баржу с солью в Песчаный, Ермолаю будет худо. В обычные дни можно еще как-то выкрутиться, сказать, что заблудился. Но сейчас, когда такая везде горячка, когда нужна соль для сушки рыбы, — никаких оправданий! Скажут, как правильно заметил Прошка, вся семья ненадежная.

Нет, старик не имеет права доставлять хлопоты живущим. Ермолаю уже и так досталось из-за него.

Прошка чуть не валится с ног от усталости, Надо заметить мальчишку.

Каип стал за руль, а Прошка лег на мешковину, попросив старика глядеть в оба, может, вдруг появится лодка отца.

Каип слышал, как Прошка долго ворочался, вздыхал и не мог уснуть, все беспокоясь об отце.

Раз уснув, он поспал немного и проснулся, застонав от дурного сна. Поглядел с тревогой на море и опять пошел и лег. Каипа же все будоражили воспоминания, все не давали ему покоя. Старик устал и теперь боялся вспоминать. Попытался отвлечься, думать о чем-то другом, ну, скажем, об острове рыба-надзора, где когда-то баи-перекупщики издевались над ним, требуя, чтобы уважаемый Каип уговорил рыбаков Песчаного топить лодки и рвать сети, не отдавая их в артель. О чем бы старик ни вспоминал из своей долгой жизни: об этих баях-перекупщиках, о раненном ли на фронте сыне, которого вез на лодке из Акчи и тоже заблудился, о грустном ли времени, когда его, бригадира, таскали в суд — разворовали на Песчаном рыбу, а кто, так и не выяснили, вот и вызывали Каипа, чтобы привлечь к ответу, — как бы ни задумывался над прожитым, везде он был прав перед самим собой, сколько бы ни пытались доказать его неправоту другие. Кроме истории с Айшой, тогда, в юности, во всем остальном старик был честен и справедлив и никому не причинял страданий...

Наоборот, всегда получалось так, что он страдал за справедливость, и только мудрость помешала ему стать злым и наделать новых ошибок, за которые пришлось бы потом держать перед собой ответ.

«Я тогда не мог больше жить на острове, решил уехать. И не потому, что начались разговоры, осуждения или насмешки — тогда еще никто не знал о случившемся... Стали узнавать позже, через много дней... — вспоминал старик.

Решил, что все мы — и Каримбай, и Айша, и я — виноваты в том, что произошло в зарослях... Разве не был прав я в своих опасениях? Ведь предупреждал Айшу, даже запирал ее дома. Но, видно, она дала Каримбаю какой-то повод — и вот случилось это несчастье...

Вечером я пришел на поляну, где сидели люди, и сказал, что уезжаю на заработки. Айша должна будет ждать моего возвращения и выйти замуж лишь в том случае, если выловят

в море мой труп. И, когда все убедятся, что я мертв, Айша могла быть свободной...

Утром, когда я еще спал, набираясь сил для дальней дороги, Айша побежала по острову, крича старухам, сидящим молча на валунах: «Уходит моя отрада, мой жених...» Так было принято у нас провожать женихов: я и Айша должны исполнить прощальный обряд...

Старуха поймала Айшу за руку и угрожающе шепнула ей: «Говори, изверг! Теперь он изверг!»

Не могла Айша вынести такого, вскрикнула, закрыла лицо длинным рукавом. А старухи внушали ей, толкая ко мне в дом: «Не с тобой одной так, не с тобой одной...»

Айше было страшно — равнодушные глаза старух горели отчаянным блеском мести. Несколько старух вбежали в дом и стали будить меня, бить по спине. Я стонал. Били по лицу черными сухими руками. Потом били ногами, такими же черными и высохшими, отчаянные старухи, возраст которых трудно определить. Казалось, родились они такими и вовсе не изменились с тех пор, оставаясь уродливыми и старыми...

Мстили они мне за юность, ибо только мужчины на острове имели возраст. А когда устали бить, повели во двор. Я не имел права сопротивляться. Я уходил с острова, а по обычаю мужчина, который уходил, бросив невесту и дом, должен был быть избит чужими женщинами и своей невестой...

Я лег на песок, чтобы передохнуть. Одни лишь овцы были участливы — подходили и обнохивали меня со всех сторон. Вышла Айша, посмотрела на меня. «Пора поднимать его», — сказала старухам. И в тоне ее уже не слышалось сострадания. Лицо искривилось, в ней самой пробудилась месть, стоило Айше посмотреть, как старухи бьют меня...

Пока женщины снимали шестами сухие туши баранов, висящие на стене дома, Айша быстро приготовила мне оживляющий напиток из бараньего жира, смешанного с корой саксаула и приправленного солончаковой травой. И вдруг опять

закричала, когда я внимательно посмотрел на нее, страх и сострадание вновь вернулись к Айше. Но как только старухи осуждающе взглянули на нее, она тут же бросилась на меня, села мне на грудь и выкрикнула проклятие...

Недалеко на поляне сидели старики. Песок был мягкий, первородный, принесенный сюда за ночь из дальних мест острова. Песок этот нагонял лень, приятное искушение и тоску. «Тепло и хорошо здесь», — услышал я чей-то голос. «Да ведь это чьи-то тела. То тепло, которое было в людях, оно не уходит даром», — согласились с ним. «Смерть очищает все, — слышал я голос. — Каким бы человек ни был грязным при жизни, песок его всегда чистый. Странно...»

Кто-то показал в мою сторону: «Вот и отец его гнусный был. А прошлой зимой в пустыне я нашел его останки. Решил перенести в пещеру, чтобы похоронить, поднял, но останки рассыпались. И удивился я тому, что и его песок белый...»

Черные были старики, морщинистые и угрюмые. Смотрели друг на друга исподлобья узкими, скрытыми глазами. Они пропустили меня на середину круга. И я стал, опустив голову...

Старухи принесли в глиняных подносах мясо. Сели со стариками, а Айша пошла с подносом по кругу. Ели молча и жадно. И бросали кости к моим ногам...

Когда поедят и скажут заповедь «Мир страннику», я беру кости в мешок, погружу в лодку и повезу с собой. И должен буду возить их до тех пор, пока не вернусь обратно домой, — это чтобы не забывал свой род, а забуду, съедят мой труп рыбы в море...

Поели все и стали поглядывать на меня. Я же ходил полусогнутый и собирал кости в мешок. Только изредка смотрел на Айшу, довольный своим возмездием. Стояла она еле живая, как будто догадывалась о злом моем умысле...

Айша помогла мне взвалить мешок на спину — мешок тяжелый, съедены четыре овцы, и старухи погнали меня из

поселка. С трудом взобрался я на бархан, много раз падал и, выбиваясь из сил, пришел к кладбищу. Смерть — случайность, вот и выбрали люди самое заброшенное место для кладбища, не заботясь ни о красоте, ни о вечности останков...

Я с мешком за плечами, Айша и старухи следом ходили и искали могилу праотца-родоначальника. Все холмики одинаковые, и, хотя никто не был уверен, что холмик этот действительно принадлежит праотцу, старуха сказала: «Вот здесь!» И все мы опустили на колени...

Старуха плеснула на холмик кувшин воды, и все стали перебирать песок, размешивая с водой. «Повторяй! — приказала мне старуха. — Я оставляю очаг, где родился...» Я закрыл глаза и как можно жалобнее стал повторять. Старушечьи руки потянулись к моему лицу, мазали мне лоб, щеки и губы глиной. «...Если забуду родину, то умру, съеденный рыбами...»

Айша, делавшая все, как полагается по ритуалу, вдруг застонала, услышав эти слова...

«Если убью я человека, пусть выколет мне глаза слепой буран», — повторял я за старухой. Айша зарыдала и принялась бить меня по спине. «Прости!» — кричала она. Старухи бросились оттащить ее от меня, но Айша цеплялась за мои ноги, все прося прощения. Я поднялся и быстро побежал прочь с кладбища. И бежал так до самого берега, где стояла моя лодка. Греб потом и греб без передышки, уплывая все дальше и дальше от острова, где навсегда оставлял Айшу искупать свой грех страданиями и одиночеством...»

## VII

Прошка спал очень беспокойно. Он часто стонал, переворачивался то на живот, то на спину, сжимался в комок, потом, видно, у него отекали руки, и он разбрасывал их, устраи-

ваясь поудобнее. Прошка всегда плохо спал в море, лунный свет будоражил его, навевая тревожные сны.

Снился Прошке Зеленый. Как лодки в прилив не могут никак пристать к берегу. И как поднимаются они потом, звеня, к луне по белой лунной дороге, плывут, плывут наверх и растворяются в тумане...

Каип по-прежнему бодрствовал у штурвала. К старику вернулось душевное равновесие.

Долго баржа плыла в полумраке, а теперь вышла на лунную дорогу.

Дорога эта, местами белая, местами матовая, местами серая с зелеными пятнами, начиналась у далеких берегов, шла через все море к Песчаному, освещала лица спящих возле лодок у причала, затем снова сползала в море и белым мостом перебрасывалась на остров Зеленый, уходя потом и оттуда через тысячи островов на другой берег, в степь и в города, связывая всех живущих на земле вечным братством...

Теперь и Каип плыл по этой дороге.

Вначале неуверенные, руки его вскоре привыкли к штурвалу. Старик был спокоен, зная, что к утру придет баржа к Песчаному и Прошка сможет встретиться с родными.

А как он сам, Каип? Что он будет делать потом, вернувшись на Песчаный? Где возьмет лодку, чтобы снова плыть к Зеленому?

А может, предки слишком рано позвали его? Может, он еще не прожил сполна дни, которые отпущены ему?

Да, похоже на то, что чем больше на пути Каипа препятствий, тем больше он мужает и крепнет, чтобы преодолеть их.

Прошка уже выбился из сил, а он, старик, может работать без усталости до самого утра — борясь с жизнью, смерть пока что отступает... Желание стоять на ногах и не падать еще сильно в старике, но ведь все это не вечно.

Значит, надо продолжать. Пока есть воля, не растрчивая

ее, плыть к берегам Зеленого. Завтра же. Если не удастся достать лодку, попытаться самому, вплавь.

Ладно, сейчас надо меньше думать об этом. Сейчас Каип должен привести баржу на Песчаный. Путина может начаться в любой час. И, если не успеют перемолоть соль, неприятности ждут всех. Не станут разбирать, кто прав, кто виноват, позеленевшую, вздутую от жары рыбу закопают в песок, и только голодные собаки будут бродить по поселку, волоча за собой рыбы кишки.

Каип вздохнул и вновь предался воспоминаниям — невеселым и неторопливым.

«Я поселился совсем рядом, на Песчаном. И, чтобы не быть здесь чужаком, пришлось жениться на девушке, которую привели мне старики. Для всех я был веселым, беспечным парнем. Много и беспричинно смеялся, распевая песни в море, боролся на песке со своими сверстниками, частенько дрался в кулачном бою.

В Акчи на ярмарке купил себе большую лисью шапку и желтые сапоги и прогуливался в них по берегу, обмениваясь шутками с нашими островными красавицами. Люди не зло смеялись над моими выходками: повзрослеет — образумится, станет, как и все, умножать свой род, будет хорошим рыбаком и работником...

С тех пор ни разу не пришлось мне съездить на Зеленый. Семья, заботы, сын родился... И время началось очень сложное, бурное, надо было разбираться не только в себе, но и в окружающих...

Исчезали с островов всякие ростовщики-благодетели, перекупщики, а с ними и обман, бедность — острова побратались, труд сблизил людей, и те, кто раньше чуждался друг друга, объединились в одну большую рыбацкую артель...

Ермолай уговорил меня переплыть с ним море, чтобы отомстить наскльникам — Каримбаю и его дружкам. Сам бы я никогда не решился на такой шаг, ибо знал по горькому



опыту, что месть — это не самое лучшее, чем можно ответить на зло. Знал я теперь и другое: каждый человек сам рано или поздно, размышляя, приходит к очищению. А если и не успеет в этом мире, очистит его другой, новый мир, к которому он уйдет...

Когда мы приплыли в Акчи, оказалось, что отец Каримбая, заводчик, убит теми, кого он притеснял, а сам Каримбай сослан на безлюдный остров. Пришло и для него время поразмышлять!..»

Лунная дорога постепенно растворилась, опускаясь на дно моря, рассветало.

Теперь оставалось миновать еще один островок, а оттуда до Песчаного рукой подать.

Островок этот, сонный и прохладный, неожиданно появился слева. И Каип вдруг подумал, что нужно сойти здесь, чтобы раздобыть лодку у родственника.

— Проща, — позвал он.

Проща, уже одолевший крепкий сон и теперь лишь дремавший, быстро поднялся.

— О, уже Серный, — сказал он с некоторым смущением, ругая себя за то, что проспал весь путь и не заменил старика. И, видя, что баржа чуть отклонилась от курса и плывет к Серному, спросил с недоумением:

— Вы решили набрать воды, дядя Каип?

— Нет, я останусь здесь... Вон уже и Песчаный виден.

Остров на горизонте был действительно Песчаный.

— Лодку сдай отцу. Скажи, что я... — Каип хотел добавить, что сожалеет о случившемся, но решил, что Ермолай так и поймет.

— Значит, уходите? — переспросил Проща, огорчившись.

А зачем Каип уходит, так и не решился спросить — почитал неприличным.

Родственник, о котором вспомнил Каип, был председатель артели Аралов.

Домик председателя ничем не выделялся среди рыбацких построек — наполовину осел и ушел в песок, худые стены выветрились, а крыша из водорослей давно сгнила и торчала комьями, будто ворошили ее вилами.

В свободные дни хотели рыбаки починить председателю дом, перестелить крышу и уже выловили в море водоросли, но Аралов все отмахивался: как-нибудь потом, после путины...

В Серном знали, что Аралов давно уже помышляет бросить все и уйти на покой, знали и боялись этого. Посоветовать ему что-либо стеснялись, но тихо и негласно делали все так, чтобы не давать ему повода для ухода.

Родом же Аралов был с Песчаного, но редко бывал там, посылал заместителя. Там, на Песчаном, было к нему другое, недоброе отношение.

Обычно, когда Аралов появлялся на островах, рыбаки — впереди начальники пониже Аралова рангом, бригадиры, рыбнадзоры, передовики, а сзади все остальные — сопровождали председателя, показывая ему поселок и свои достижения, лодки и сети. На Песчаном же все до единого продолжали сидеть на берегу, разговаривая на отвлеченные темы, и Аралов в одиночестве бродил по острову, осматривая хозяйство, прыгал через саксауловые ограды, отбивался от голодных псов и, все осмотрев, подсчитав, молча садился на катер и отплывал.

Землякам на Песчаном было как-то неловко от мысли, что Аралов — сам рыбак, отец и дед его рыбаки, Аралов, которого они женили, научили плавать в море и отличать леща от осетрины, этот самый Аралов — не рогатый, не семи пядей во лбу — поставлен над ними начальствовать.

И вообще, рассуждали на Песчаном, нужен ли им Аралов? Рыбаки сами, когда нужно, натягивают сети, гонятся за кося-

ном и ловят рыбы столько, сколько дает им море, ни на рыбешку больше или меньше, ведь как же иначе, это их дело, а кто увильнет от дела, тому самому худо будет, не Аралову. Голодать председатель не станет.

Конечно же, будь председателем другой, не Аралов, и на Песчаном ходили бы за ним по пятам, заглядывая в лицо, не улыбнется ли начальство, чтобы и им улыбнуться, и не захочет ли оно над собственной шуткой, чтобы и они тут же захохотали.

Ведь помнят же все Сапарова, бывшего председателя. Тот не терпел ни на чьем лице ухмылочку, топал ногой, гордец, тут же уползал к себе в хижину.

...Аралов был председателем множества островов, крупных и мелких, безымянных. И, чтобы даже бегло осмотреть все хозяйство, требовалась целая неделя.

И месяца не проходило, а летчики уже снова радировали ему — на территории артели вылез из воды новый островок, бывший риф или подводная скала.

Надо было отправиться туда, объездить островок, измерить его, проследить, куда ушло теперь течение и какова глубина моря возле берегов, подумать о будущем устройстве суши.

Соответственно менялись теперь и рыбы маршруты, направление косяков — надо было сидеть и все это подсчитывать, меняя планы годовых уловов.

...Каип, так и не уснувший в доме председателя, сидел на крыльце и смотрел, как шел в темноте, спотыкаясь, усталый Аралов.

— Ты кто, старик? — спросил Аралов у незнакомца, сидевшего мирно у его дома.

— Каип я. Двоюродный брат твоей матери.

— Заходи в дом!

Боясь, как бы Аралов не завалился спать на все утро и весь день, Каип заволновался.

— Мне нужна лодка, аксакал, — сказал он просто, чтобы не вызвать подозрений.

— Что? — помрачнел Аралов. И захохотал, крича в дом: — Слышала, жена, нашему родственнику понадобилась лодка!

— А ты дай ему, — сказала жена, выйдя из дома, полусонная, ворчливая.

— Сговорились! Родственнику не дам ни лодки, ни рыбы! — Аралов ввалился в дом и, бросившись на кровать, поспел, поворочался с боку на бок и уснул.

— Отоспится — поподреет, — сказала жена и, оставив Каипа у крыльца, ушла досыпать.

Каип зашагал вдоль берега, осматривая остров и поселок. Уже рассветало. Зашевелился пар, спрятавшийся ночью на крышах, зашевелился, поднялся густым туманом и пополз обратно в море. Облизал все дома, весь остров, унося запахи гнилой рыбы, словно был это теплый дождь.

Каип весь дрожал с ног до головы, борода растрепалась.

Слышал он, как море, приняв пары, устало вздохнуло, зарябило волнами и снова притаилось, готовясь к работе нового дня, день же ожидался на редкость трудный и напряженный.

Все вокруг на мгновение затихло, потом застучали двери и окна, зажурчала вода в котлах и повалил дым из печей — проснулись и рыбаки. Принялись латать сети, смазывать лодки и толкать их в воду. Лодки запрыгали, заволновались, все: и люди, и лодки — соскучились по путине.

Чуть позже проснулись и птицы — зашуршали в песке, забегали в кустах коршуны, серые фазаны и песчаные чайки...

С тех пор как рыба ушла с поверхности моря в глубины, птицам стало трудно прокормить себя, вот они и поселились на островах, сделавшись прихлебателями рыбаков. И просыпались они теперь позже людей, чтобы подобрать после утреннего лова все мелкое и несъедобное.

Когда птицы поугомонились, послышался над островом рокот самолета, выслеживающего косяк.

Рыбаки, прикрыв глаза от солнца, искали в небе разведчика: чувствовали они безошибочной рыбацкой интуицией, что нынче обязательно должен начаться большой лов.

Сделав два круга над головами людей, самолет приветливо помахал крыльями и полетел низко, словно пил воду из моря.

Вот вышел к рыбакам и бригадир. Собрав людей, он стал что-то объяснять, хмуро поглядывая на каждого, чтобы слова его принимались всерьез, как приказ.

Рыбаки закивали в ответ, затем разошлись — побежали мимо Каипа, неся весла, кувшины с водой, торопились к лодкам, снимая с подвесок сети.

А бригадир пошел по поселку, стуча в двери и окна, прося о чем-то, объясняя и угрожая.

Кажется, начинается, подумал Каип, заторопился к дому Аралова и застал председателя за рацией.

— Не пугайте меня, ради бога! — кричал высшему начальству Аралов. — Конечно, самое трудное достается нам! Нет, я не говорю, что вы бездельничаете, боже упаси... Проверьте лично, пожалуйста! Море? Как будто спокойно. Приезжайте!

Аралов минуту сидел спиной к Каипу, обдумывая, видимо, план действия, затем встал и сказал старику:

— Кажется, сегодня выступаем...

— А как же я, аксакал? — засуетился Каип. — Заклинаю тебя перед прахом двоюродной сестры твоей матери...

— А куда тебе?

— На Зеленый. За полдня управлюсь. Давай самую захудалую, не обижусь.

— На Зеленый? Постой, зачем тебе лодка? Через час пойдет туда баржа из Акчи, она и заберет тебя. Договорились? Ступай на причал и жди.

— С баржой это ты умно придумал, — удивился Каип тому, как скоро решилось его дело, и поплелся к причалу.

И действительно, вскоре в прибрежных водах появилась баржа с санитарным крестом, закричали в рупор:

— Эй, кому в больницу?

Каип, задремавший было, несмотря на шум и суету, быстро очнулся и побежал через камыши к барже, боясь, как бы матрос, не дай бог, не передумал и не уплыл без него. Матрос же, наоборот, оказался парнем учтивым. Он помог Каипу взобраться на баржу и даже постелил на отсыревшие ящики мешок, чтобы старик не простудился.

И баржа отчалила, взяв курс на Зеленый.

Каип поудобнее устроился на ящиках, сказав самому себе: «Ну, с богом, старик», — и решил ни о чем не думать, постараться задремать, а там видно будет.

Хотя и не спал Каип две ночи, но чувствовал себя сносно.

Вдруг он поежился: кто-то смотрел на него пристально, значит, был он не один здесь, на барже.

Смутное беспокойство охватило Каипа, когда увидел он, что в самом конце баржи сидит и не сводит с него глаз молодая женщина.

Каип, уставший за эти дни от множества людей, хотел сейчас в одиночестве опять приблизиться к своему внутреннему богу, с которым не успел еще обо всем договориться.

И еще этот молодой матрос все время выглядывает из своей будки, делает какие-то непонятные знаки, неизвестно, ему ли, Каипу, или женщине, чмокая при этом. И, видимо задумав что-то важное, оставляет штурвал и баржу на произвол судьбы, выбегает, пробирается мимо ящиков, беспокоит Каипа и стоит, и смотрит на море, не зная, как заговорить со столь необычной для здешних мест женщиной — высокой блондинкой с холодным нерусским лицом.

Суету развеял матрос, опечалился Каип.

А тут еще и сама женщина — была она литовкой, прак-

тиканткой — начала о чем-то спрашивать Каипа на непонятном языке из ломаных русских и литовских слов.

Не может ли папаша рассказать ей кое о чем, ведь она впервые в этом море, очень не похожем на море ее родины, она не успела ни о чем узнать в Акчи, все там торопились, говоря о путине, посадили ее на баржу, сказав, что на месте, в больнице, познакомится с местным бытом и здешними людьми; и как она рада, что оказалась попутчиком папаши, который внушает ей уважение своим мудрым видом и спокойствием; сколько папаше лет, и чем он болен, и какие рыбы водятся в здешнем море; слышала она, что водятся и ядовитые, правда ли это; и как сейчас в смысле многоженства, искоренен ли полностью этот порок; и какой здесь процент русских; и давно ли они поселились в этих краях; и вообще, как она, литовка, должна вести себя, чтобы не оскорбить национального чувства островитян; может быть, папаша слышал о некоем Балдонисе, геологе, который уже много лет работает на островах? Она умоляет папашу помочь ей, ибо она растеряна от незнания многих вещей...

Женщина говорила и говорила, смотря прямо в глаза Каипу. Речь ее непонятная была, однако приятна для слуха — говорила она вежливо, учтиво, словно пела песню своего далекого моря.

Каип смотрел на нее, смущаясь, — из всего сказанного литовкой понял, что она просит о чем-то, находясь в трудном положении.

Матрос тоже слушал литовку, сильно озадаченный. И метался взад-вперед, готовый помочь ей.

— Бедная, ее мучает жажда, — сказал матрос так, будто речь шла о птице. И принес литовке воду в кувшине.

Она выпила только глоток, поблагодарила. И, догадавшись, что на барже никто ее не понимает, погрузстнела.

Матрос взял кувшин и пошел к себе; женщина эта стала для него еще более загадочной.

Все молчали. Только гудела баржа и плескалась вода за бортом. У Каипа было тяжело на душе. Впервые он не смог помочь человеку, который просил его о чем-то, видимо, важном.

Литовка снова уединилась, занятая собственными мыслями.

Матрос больше не оборачивался. Море в этом месте за-капризничало, и баржу стало относить в сторону. Понял матрос, что в море шла большая внутренняя работа, такая, как бывает нередко перед затмением солнца.

Потом матрос услышал гул. Далеко кричали и волновались люди.

Так могли кричать только собранные вместе тысячи людей.

— Не путина ли началась? — заволновался матрос, обзревая горизонт в бинокль.

И там, впереди, куда шла его баржа, увидел множество лодок, катеров, траулеров и всяких других морских судов.

Вся эта плавучая сила пыталась выстроиться в один длинный ряд, чтобы запрудить море, но, собираясь вместе, лодки тут же разбегались, словно их что-то пугало.

— Путина! — закричал матрос своим пассажирам. — Рыба пошла! Улю-лю-лю! О-ле-ле! — и пожалел. Словно криком навлек беду.

Откуда-то сбоку появился весь в пене загнанный катер, и матрос получил приказ замедлить ход.

Баржа покачнулась вправо-влево и остановилась.

— Куда плывешь? — спросили с катера.

Матрос побледнел, узнав рыбнадзора Али-бабу, и, хоть по роду службы не подчинялся ему, испугался.

— В больницу, товарищ инспектор. Везу лекарства, женщину-доктора и старика.

Каип весь сжался от тоски, умоляя бога избавить его от придинок Али-бабы.



Катер, ударив боком баржу, прижался к своему тихоходному собрату. Али-баба поднялся во весь рост, желая как следует отругать нарушителя, но, увидев молодую литовку, чуть смягчился.

— Ты что, приказа не слышал? — пожурил он матроса, виновато стоящего у борта.

— Мы вышли рано, товарищ Али-баба... И доктор торопилась. — Матрос с мольбой посмотрел на литовку, прося ее заступиться.

Но, увы, она ничего не понимала. Наоборот, ей казалось, что встретились в море два приятеля и, как принято между матросами, остановились, чтобы обменяться приветствиями.

— Что это за женщина? — спросил Али-баба.

— Везу на работу. Приезжая. Ни слова не знает по-нашему. И мы ее не смогли понять со стариком, — охотно объяснил матрос.

— Виноват, — обратился к литовке на плохом русском языке Али-баба. Был он приветлив и показался женщине симпатичным. Он, Али-баба, который находится на службе, охраняя закон и порядок, просит прощения у гостьи и надеется через несколько дней, когда закончится путина, лично доставить ее на своем катере в больницу. Сейчас же он вынужден отправить баржу обратно в Акчи, ибо море на их пути закрыто сетями и лодками — всякое постороннее судно обязано не мешать путине.

Литовка многое поняла, растерялась. И, когда стала торопливо отвечать Али-бабе, тот только удивленно смотрел на нее. Она была бы не против, если бы инспектор отвез ее на катере в больницу... Возможно, он ей многое объяснит... Кстати, не знает ли инспектор, где сейчас находится ее земляк Балдонис?

Али-баба помрачнел — надо было отплывать дальше, помахал литовке, мол, все будет в порядке, не волнуйтесь, и приказал матросу:

— Отчаливай!

— Есть! — обрадовался матрос, все для него относительно мирно окончилось.

— А старика оставишь со мной, — как бы между прочим сказал Али-баба. — Надеюсь, он не болен?

— Нет, нет, я его не знаю. Пристал — отвези, мол, и все...

— Прекрасно! Он сейчас как раз нужен для дела.

Али-баба ни о чем не расспросил старика, когда тот перешел к нему на катер, сделал вид, что не узнал. Торопился, было не до расследования.

Каип оказался не единственным, кого он сегодня задержал.

Четыре других незнакомых ему старика дремали в углу судна, прижавшись друг к другу, словно были братья. И никто из них даже не взглянул на только что пойманного.

Катер сделал прощальный круг — литовка, недоумевающая, смотрела на Каипа, — и Али-баба повез старика туда, где шла в море большая долгожданная работа.

...Вот уже отчетливо видны лодки и люди с сетями. И где-то среди сотен людей братья Каипа, рыбаки Песчаного.

Море вдруг сжалось, потом отпустило свои воды, и вода там, за сетями, забегала, засуетилась после стольких дней спячки, сети тяжело надулись парусами, и Каип чутким ухом услышал, как заметалась, заговорила бесхитростным языком попавшая в ловушку рыба.

И по тому, как надулись и стали уходить под воду сети, Каип понял, что улов на редкость удачный, принесет он в дома рыбаков достаток и веселье.

Теперь надо работать и работать, чтобы окружить и поднять из глубин моря весь этот огромный косяк, потащить сети к Песчаному, а оттуда отвезти рыбу в столицу рыбаков Акчи, на заводы...

Старик все же добрался наконец к себе на родину, остров Зеленый.

Сошел благополучно на берег, поцеловал землю, посылая ей привет и прося благословения, и тихо пошел затем в глубь острова к роднику...

Каипа долго искали. Не было на Песчаном человека, который бы не выходил в море и не кричал, увидя лодку в тумане: «Отец Каип! Отец!»

Затем мало-помалу стали вспоминать разные истории, связанные со стариком. Больше других знал о Каипе Ермолай.

Вот, к примеру, этот холм, рассказывал Ермолай землякам. Часто в бураны холм сбрасывал с себя корку соли, раздался. А откуда берется соль — была загадка для Каипа.

Думал старик, что соль, возможно, лежит внутри холма пластами, пробовал копать, но ничего не обнаружил, кроме нескольких кусков обожженной глины: видимо, холм был некогда замком, а может, целым городом.

Понял Каип: вот отчего овцы не лезут на холм, сколько ни гони их туда — соль умерших городов горькая и ядовитая.

Не так давно в холме этом копался приезжий человек.

Платил пришелец деньги, и островитяне дружно помогали ему искать, как им казалось, клад. Вместо клада раскопали они стены и каменного человека с гнусным лицом — идола. Сидел он под песком, сложив руки на груди, и думал. Вытащили гнуснолицего на солнце, а он все продолжал думать. Стали смеяться над ним островитяне, но пришелец толково объяснил всем, что был здесь некогда монастырь и что этот гнуснолицый — бог. Тут все еще больше стали смеяться, зная, что бог, которого видели люди, уже перестает быть богом.

...Вспоминал, вспоминал о друге Ермолай... Но вот вернулся с Зеленого рыбак, который лежал там в больнице, божился он и клялся, что видел Каипа живого-невредимого —

мол, сидел старик на поляне и играл на свирели, а змея, прирученная им, поднимала голову и, разглядывая зевак вокруг, танцевала. И еще рыбак божился, что был старик не один, сидела с ним и держала корзину для змеи его старуха.

«Какая старуха? Что за чепуха?» — заволновались островитяне. И, чтобы проверить все, решили послать на Зеленый баржу.

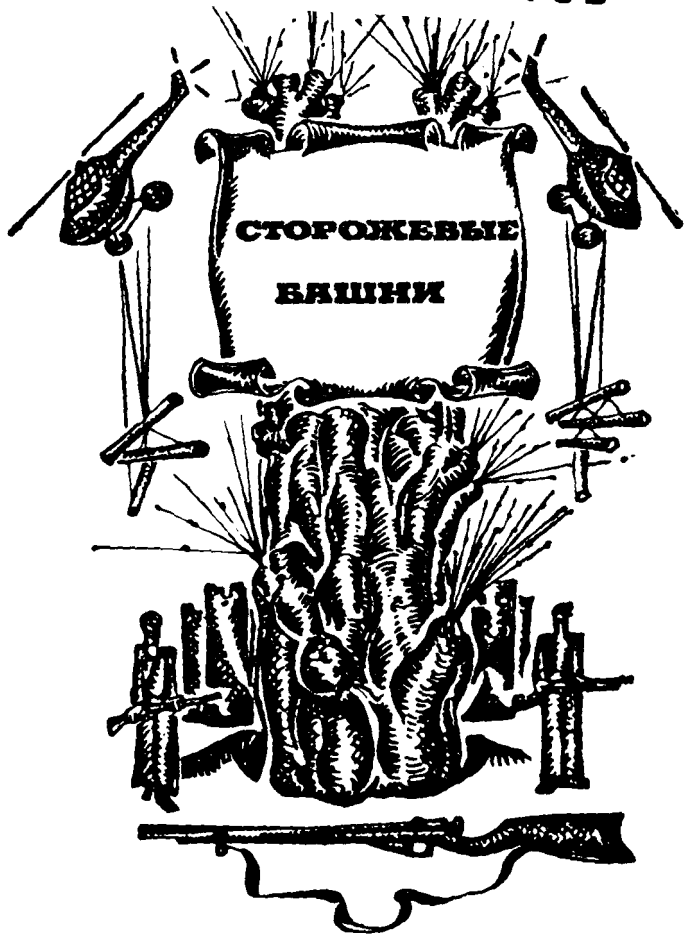
Сегодня на рассвете Ермолай и сын Каипа Аллаберген отчалили к Зеленому.

Прошка долго плыл за баржой, но отец все прогонял его.

Потосковав, Прошка вернулся на остров и сел на берегу, дожидаясь их благополучного возвращения...



ТИМУР ПУЛАТОВ







**В**

от замок на холме. Внизу река и село. У самого села река сворачивает и берет замок в плен, так что ни пеший, ни конный к замку не проберутся. Есть только одна к нему дорога — по воде...

Каждое утро десять лодок плывут к замку, и ведут их грузчики Вали-бабы.

А на берегу, у села, толпятся женщины, завязывают мешки и ждут молча, пока лодки вернутся обратно.

Грузчики выходят на противоположный берег, неся мешки, поднимаются по гранитным дорожкам к воротам замка.

Долго, тремя ключами, открывают их, зажигают фонари и идут по коридорам мимо холодных железных дверей.

Утомившись, бросят мешки на полпути, сядут на них, пожуют лепешки, покурят.

— Не могу привыкнуть, — тихо скажет Вали-баба, смотря туда, где в конце коридора дрожит полоска света.

Грузчики только вздохнут, не решаясь ничего отвечать, ибо кажется, что услышат в тишине коридора, за дверьми, чужие голоса...

— Ну, пошли, — скажет Вали-баба.

И снова, не дойдя до полоски света, отдохнут, и Вали-баба скажет:

— Я все думаю: в чьи руки они попали? Надежна ли охрана? Ведь у нас никто не пытался бежать. Правда, мужики?

И увидят грузчики, как он улыбнулся в полумраке, довольный.

Полоска света уже изменила направление и падает теперь не слева, а откуда-то сверху.

Грузчики все еще боятся разговаривать, им все еще что-то мерещится. И только один Вали-баба меньше всех суеверен. привык к темноте, к этим коридорам.

Он и раньше, когда была здесь колония, работал старшим. Товарищи стояли сутками на вышках, днем под палящим солнцем, а ночью возле прожекторов и, только закончив смену, уходили по коридорам замка домой.

Вали-баба же каждый час спускался вниз на доклад, шел как ни в чем не бывало, никого и ничего не замечая, курил и что-то насвистывал. И вмиг возвращался обратно, доложив кому следует общую обстановку.

Взвалив на себя мешки, грузчики идут к свету. И возле самого люка, как всегда, начинают кружить над головами летучие мыши — единственные теперь здесь сторожа. Грузчики чувствуют их по движению воздуха, словно к потным лицам приставили маленькие вентиляторы.

Над люком и начинаются основные постройки замка, но никто наверх не поднимается, кроме Вали-бабы. Несмотря на свои шестьдесят лет, старший грузчик легко просовывает в люк голову, а потом и ноги, и кричит, торопит, а товарищи один за другим подают ему мешки.

Нет у них теперь времени любоваться красотами замка,



нужно поскорее сесть в лодки и плыть за вторым десятком мешков. Плыть по реке с каждым днем становится все труднее — мешаюют пятна нефти на воде.

Полгода как нашли эту нефть возле села, и за это время уже успели измерить все вокруг, привезти вертолетами цемент и другие материалы для большого моста, а главное — убрать всех уголовников-колонистов куда-то за сотню километров в пустыню.

В замке теперь сделали временный склад, и бывшие караульные, Вали-баба и его товарищи, стали грузчиками.

В новую колонию их не взяли. Здесь, под боком, родное село Гузар, пусть поработают пока грузчиками, а со временем, когда начнут выкачивать нефть на промысле, подберут бывшие караульные какую-нибудь другую профессию по душе.

И остальным пятидесяти с лишним гузарцам, учителям вечерней школы колонистов, всяким прачкам и медикам, тем, кто был раньше на штатной работе в колонии и кто зарабатывал себе на жизнь, продавая лепешки, айран, шашлыки уголовникам и родственникам, приезжавшим издали повидать их, тоже обещана хорошая работа на промысле, вокруг которого должен вырасти новый город.

В старые времена, когда не было здесь замка, предки нынешних гузарцев — крестьяне жили в богатом селе возле реки. Жили и не ведали, что в далекой Бухаре сестра эмира, принцесса, готовит против брата заговор, желая посадить на трон дядю. И вот однажды появились в Гузаре всадники, привезя с собой эмирский приказ о том, чтобы строился на холме замок для принцессы, ибо заговор ее раскрыт и сама она будет жить в изгнании. Крестьянам пришлось забросить свои поля и виноградники и заняться постройкой замка. А так как для крепости нужна была хорошая глина, то заставили крестьян перевозить с полей всю землю, да и сады вырубить — и вот с тех пор все вокруг, до самой реки, покрылось ядовитой солью и заросло бурьяном.

Принцессе тогда пришлось забрать всех гузарцев к себе в замок. Женщин — служанками, прачками, поварами, а мужчин — конюхами и сторожами-солдатами.

После принцессы жили здесь в изгнании четыре везира, один хан и два графа, и гузарцы всем им прислуживали...

Когда же, в наши уже дни, лет тридцать назад, в замке организовали колонию для уголовников, Вали-баба и девять других молодых людей обучились стрельбе, погоне, обращению со служебными собаками. Надели на них мундиры и поставили на дозоре.

И уже привыкли они ко всему, службу несли аккуратно, дисциплинированно, в колонии им нравилось, и думали они проработать так до самой смерти.

Каждому из караульных оставалось прослужить всего год или два до пенсии, но Вали-баба, например, заранее решил, что не уйдет добровольно из колонии, даже если наступит старость. Был он на хорошей примете у начальства, служила его команда без оплошностей и ЧП — уголовники попались какие-то мирные, ни у кого и на уме не было рыть подкоп или убегать в открытую из замка.

Смена проходила поэтому безо всякого напряжения. Днем сидели на вышках и смотрели, как ползут зеленые ящерицы по крепостной стене, спорили: догонит ящерица паука или паук шмыгнет в расщелину, а ночью гадали по звездам, какая будет завтра погода, и всякое такое...

Прекрасные были времена! Домой возвращались совсем неусталые, были еще силы лодку починить, порыбачить.

Кто мог знать, что прямо здесь, под замком, ползет нефть! Узнали о ней совершенно случайно какие-то проезжие геологи, и вот с тех пор все в жизни товарищей Вали-бабы круто изменилось. Конечно же, бывшие караульные понимают, что гораздо выгоднее держать здесь промыслы, а не колонию, понимают, но привыкнуть к мысли, что замок пуст и что не стоят они на вышках, — не могут. И как-то обидно им и

за такой крепкий, надежный замок, с его вышками и бойницами, с длинными коридорами, созданными для того, чтобы в них толпились преступники.

Вот почему грузчики молчат, боясь сказать хоть слово, когда идут с мешками в полумраке, и не лезут дальше люка, к основным зданиям замка, где они отдыхали в перерывах, где обедали в столовой, где принимали их с рапортами начальники, и куда они сдавали после дежурства карабины, и откуда упругие железные лестницы поднимали их к сторожевым башням, — странно все и непривычно, нет никого, тишина...

Быстро подают мешки наверх, а обратно уже бегут по коридорам, торопятся.

Делают за смену все десять положенных по договору рейсов, а если не жарко, то и пятнадцать.

Так они поработают еще месяц. А потом приедут строители с техникой и начнут собирать мост.

Через месяц грузчики Вали-бабы должны будут тоже заняться мостом...

## 2

Когда до приезда строителей оставалось дней десять, начали перебрасывать по воздуху на вертолетах железную основу моста и огромные булыжники в металлических сетках, — видимо, на фундамент.

Грузчики не плыли больше к замку. Собирали в одно место булыжники, тащили на арбах, двуколках ближе к берегу самую основу моста — делали все добросовестно, служба в колонии приучила их к этому.

— Да ведь что ни делай, везде работа, — сказал грузчикам Вали-баба. — Надо честно служить.

— Верно, — согласились с ним. — Повезло нашему захолустью.

Ночью пошел дождь, и грузчики слышали вначале тихий

шепот — капли перебирали мелкие камни на стенах замка. А потом настоящий гул начался, когда камни покатались вниз, в реку, вместе с потоками воды. Камни не сразу шли ко дну. Внутри полые, легкие, они доплывали почти до середины реки, оставляя за собой, как рыбы, белый пенный след.

Утром замок снова стоял невозмутимый, чистый, словно ждал гостей. И грузчики видели, как облако пара и тумана, капля за каплей, собирается опять над замком, дрожит, плывет то влево, то вправо, занимая свое всегдашнее место над сторожевыми башнями, как большой нимб.

В полдень грузчики бросили булыжники и арматуру, успевшую уже порядком заржаветь от близости реки, и сели в лодки. Вспомнили они, что давно не убирали замок, стены его снаружи вымыты дождем, а внутри, на площадках, переходах и лестницах, должно быть, уже много нанесено песка.

Знали товарищи Вали-бабы, что со временем, когда вырастет на месте Гузара город, станет замок его главной исторической достопримечательностью.

Пришли грузчики в замок с метлами и ведрами и уборку решили начать сверху, со сторожевых башен. Все открытые места замка — три его двора, мощенные гранитом, крыши внутренних построек, дорожки — были и вправду покрыты слоем красного песка. Песок, видимо, через люк и ворота залетел в длинные коридоры, засыпав все, что напоминало о колонистах, следы их рук и босых ног.

Зато увидели теперь грузчики в коридорах свои собственные следы, идущие цепочкой, а дальше, куда они давно не поднимались, во дворе, — следы лисиц, черепах и маленькие, еле заметные следы ежей.

Чуть выше, уже на лестницах, оставили свои следы вороны и коршуны, а возле самых сторожевых башен и орлы.

Так шли бывшие караульные, беря на заметку всех, кто побывал в замке, ибо служба в колонии научила их большой наблюдательности и смекалке. Могли они по следам различать

не только животных и птиц, но и людей, определять их возраст, рост и пол, а это впоследствии еще не раз пригодится им.

Каждый решил убрать свою башню; Вали-баба остался возле первой, а его товарищи побежали с метлами по узкой дорожке стены, каждый к своей.

Вторая сторожевая башня находилась в пятидесяти метрах от той первой, которую занял Вали-баба. А дальше — остальные точно на таком же расстоянии друг от друга, и всего башен ровно десять.

Первоначально были сложены башни из красного кирпича, и только самый верх крыши из листового железа. Но когда поселилась здесь колония, пришлось кое-что изменить. Были убраны круглые кирпичные стены с бойницами, а также внутренние лестницы, ведущие на крышу башни. Не тронули лишь основания башен, на которые и поставили железные прутья и перегородки, чтобы держалась крыша над головой.

Теперь стало удобнее круглосуточно обозревать окрестности замка, отмечать любого пешего и конного.

Как-то сиротливо сейчас здесь!

А в свое время Вали-баба принес сюда наверх немного земли и посадил в горшках всякую зелень. Вьюны ползли по железным прутьям на крышу и давали немного прохлады.

Снизу начальнику службы не было видно, что там у них растет, у караульных, ведь по уставу все, что отвлекало их от дозора, должно было быть снято с башен. Снизу не видно, а наверх начальник не поднимался — слишком уж доверял команде Вали-бабы. Зато зелень украшала караульным их одинокую жизнь на башнях — ведь все они из бывших крестьян.

И еще нет сейчас возле башен прожекторов, неусыпно освещавших двор замка, всю местность вокруг и ночное небо, — пусто кругом, и все разорено.

— Вали-баба, вы видите? — крикнули из ближайшей башни.

Из всех башен смотрели сейчас на село и на реку.

— Кажется, строители пожаловали, — сказал Вали-баба, видя, как из трех только что прилетевших вертолетов вышли на сельскую поляну незнакомые люди.

— Спустимся к ним?

— Не сейчас. Мы ведь не приставлены обслуживать их, — сказал, желая не терять достоинства, Вали-баба. — Пусть женщины встречают гостей.

Женщины и вправду вышли встречать строителей, понли их водой и айраном.

Вспомнив о мешках в замке, Вали-баба забеспокоился и крикнул товарищу из ближней башни:

— Калихан, сбегай и посмотри: не отсырели ли там мешки? Мы за них головой отвечаем. Если заметишь какую-нибудь кражу, бей тревогу!

Калихан кивнул и вышел из башни и, проходя мимо Вали-бабы, высказал сомнение:

— Да какая может быть кража?! Кроме лисиц и ворон да нас самих с ключами, разве в замок кто-нибудь проберется?

— А как же лисицы? — спросил Вали-баба о том, что его давно мучило.

— Видно, подкоп сделали в стене.

— Вот стервы! — покачал головой Вали-баба. — Ну иди проверь. И запомни: там, где проходят лисицы, пройдет и вор, он в хитрости не отстает.

— Что-то они в нашу службу не проходили, — снова засомневался Калихан.

— Верно, не проходили. Да и не могли. Была у нас отличная команда!

— Была... — как-то сразу погрузился Калихан и пошел вниз.

А женщины Гузара, напоив строителей водой, уже показывали на замок, объясняя что-то.

— Видно, нас ищут! — крикнули Вали-бабе.

— А что нас искать? От работы мы не уваливаем... Можно подумать, что они сами тут же бросятся строить мост. Отдохнут с дороги, покупаются — вот мы и познакомимся с ними.

— Сюда бегут! — закричали сразу из нескольких башен.

— Стойте на местах! — приказал Вали-баба. — Калихан внизу, встретит их.

Строители добежали до реки, разделись и поплыли к замку. Пока плыли, утомились, и теперь не бежали к воротам замка, а шли строем.

Поднявшись, стали стучать и кричать, — грузчики всегда запирали за собой ворота.

Калихан долго не решался открыть, делал со двора знаки Вали-бабе, спрашивая, как быть.

— Впускай! — махнул рукой Вали-баба.

Калихан снял изнутри засовы, крикнул тем, кто стоял за воротами, чтобы толкали, ибо один человек был не в силах сдвинуть железные ворота с места, а сам отбежал в сторону.

Строители навалились на ворота, и они наконец распахнулись, выпустив наружу несколько летучих мышей.

Один из строителей бросился ловить их, но безуспешно, другие кричали и подбадривали его.

Калихан угрюмо смотрел на посетителей замка, моргая от яркого света за воротами. А те приняли его за обыкновенного сторожа пустого замка, к тому же еще и сонного и пропахшего сыростью коридоров.

— Как тут у вас, по билетам пускают, папаша? — вполне искренне спросил один из строителей, зная, что в других местах за осмотр исторических памятников такого масштаба надо платить.

Калихан промолчал, сделав вид, что ничуть не обиделся, и строители пошли мимо него в темный коридор.

Здесь они остановились, ничего почти не видя и наступая друг другу на ноги.

— Где вы там, папаша? — стали искать Калихана. — Куда нам идти?

— За мной, — приказал Калихан, пошел и стал впереди строя. — Идите по одному и возьмитесь за руки.

— А нельзя ли было освещение сделать? — спросил кто-то. — Чтобы людям приятно было.

Голоса эти, не находя себе выхода, ударялись о сырые камни коридора и, замураванные в четырех его стенах, теряли человеческий смысл, становясь похожими на бормотание и стон.

Калихан долго морщился, вздыхал и, наконец, сказал идущим сзади:

— Прошу, граждане, не разговаривать!

Строители умолкли, и теперь до самого люка был слышен лишь топот ног, неуверенных и неторопливых.

Когда все поднялись через люк во двор замка, Калихан заметил, что лица строителей, пока шли они по коридору, посерели от паров, а глаза потеряли живой блеск.

— Было освещение. Еще недавно горели лампочки, — решил признаться Калихан.

Но строители, пораженные великолепным видом двора, к которому так долго пробирались, молчали и не слушали Калихана.

— Все закрыто, — сказал Калихан, показывая на постройки во дворе. — Можно лишь побродить здесь.

Строителей несколько не огорчил этот запрет, и только один из них сказал Калихану:

— Ну, отец, рассказывай, сколько веков тому...

— Ничего я не знаю, ничего, — прервал его Калихан, рассердившись на гостей и видя, что кое-кто из них безо всякого разрешения идет по дорожке к соседнему двору, где была раньше душевая. — Идемте все наверх, к башням.

Калихан решил не связываться с этими людьми, пусть Вали-баба сам командует.

— Наверх так наверх, — сказали строители, и по тону



их Калихан понял, что нет у них особого интереса к замку, просто думали поразвлечься после дороги.

Зная правило, что никогда не следует первому подниматься по лестнице, когда сзади тебя идут чужие люди, Калихан по одному пропускал строителей наверх.

«Двадцать восемь», — машинально подсчитал посетителей Калихан. И последним поднялся к сторожевым башням, где и встретил их всех хмурый Вали-баба.

Был он, попросту говоря, немного растерян, потому и хмурился, напуская на себя важный вид. Ведь впервые за много лет поднялись к ним вольные люди, не уголовники, не преступники, а как они поведут себя, о чем спросят и как им отвечать — вот это и смущало Вали-бабу, отвыкшего от общения со всем остальным миром.

Строители нисколько не удивились, обнаружив на башнях людей, подумали, что это такие же посетители замка. Поэтому ни слова не говоря и даже особенно не рассматривая Вали-бабу и его товарищей, шли они от башни к башне, любясь прекрасным видом села и реки внизу.

Некоторые из них, быстро утомившись от палящего солнца, сели прямо здесь, на стене, и снова напомнили Калихану:

— Все-таки, интересно узнать историю замка...

— Кто тут у вас старший? — спросил Вали-баба, привыкший к тому, что каждая группа людей имеет своего старшего, ответственного.

— А зачем он вам? — удивились строители.

— Видите ли, граждане, мы работаем здесь грузчиками. Завезли мешки, сложили булыжники и арматуру моста...

— Так вот вы кто! — К Вали-бабе подошел бригадир, человек еще молодой, в белой каске, какие носят обычно на опасных работах. — Вы славно потрудились. Поздравляю. — И пожал Вали-бабе руку. — А мы вот решили осмотреть замок, — как бы извиняясь, добавил бригадир, снимая с головы каску.

— Пожалуйста, смотрите, — пригласил Вали-баба и взял у него каску, чтобы определить вес.

Только теперь, внимательно разглядев всех грузчиков, бригадир увидел, что все они чем-то очень похожи друг на друга — все крепкие, коренастые, у всех военная выправка и пронзительные взгляды... Все молчаливые и настороженные. «Как братья», — отметил про себя бригадир.

### 3

Вначале решили строить временный мост, чтобы перебросить к замку технику.

Люди Вали-бабы сидели в лодках и держали сигнальные канаты, водолазы изучали, измеряли дно, и гузарцы потом вытягивали их на поверхность.

Передохнув, водолазы снова опускались на дно, и лодки весь день тихо плыли туда, куда тянули их канаты.

Работа эта требовала большого терпения и дисциплины, но команда Вали-бабы ни разу не роптала.

Видя, как трудятся гузарцы, бригадир нередко ставил их в пример другим строителям и распорядился выдать им белые каски. И, хоть не годились они для местного жаркого климата, грузчики не снимали каски с головы, и со стороны трудно было их теперь чем-то выделить из всех.

Так проработали они около трех недель, но однажды утром не вышли на берег.

Бригадир подождал немного, не решаясь опускать без Вали-бабы водолазов, затем послал в село своих людей.

В поселке из глины и соломы показали строителям деревянные домики барачного типа, где жила команда Вали-бабы. Возле этих домиков все так, словно хозяева вышли на минуту, — стояли табуретки и столы, на которых было рассыпано домино, разложена посуда с чаем и коробки с табаком.

Строители подождали, покурили брошенный табак, прошел час, второй, и время приблизилось к полудню.

На всякий случай еще раз постучали, хотя понимали, что это бесполезно — двери в бараках не были заперты, а в некоторых — и окна не закрыты в спешке. Никто в селе не знал, куда делась команда Вали-бабы, никто даже не удивился их исчезновению, решили — раз ушли десять мужчин, значит так надо.

Вспомнили только, что ночью сильно лаяли где-то чужие собаки, но строители решили, что это к делу не относится. Озадаченные, вернулись они к бригадиру на доклад.

Тот приказал хорошенько осмотреть лодки пропавших, думая, не случилось ли несчастье.

Лодки оказались целыми, без пробоин и даже без царпин — аккуратно смазанные и вымытые изнутри, и бригадир еще раз отметил про себя, сколь дисциплинированны были гузарцы.

Весь день, до сумерек, водолазы ныряли в реку, а вниз по течению был послан катер. Но ни живых, ни мертвых гузарцев не обнаружили — исчезли, испарились!

Утром следующего дня бригадир связался по радио с милицией, но дал им очень скудные и противоречивые сведения, ибо сам толком не успел ничего узнать о пропавших...



А те, кого разыскивали сейчас в Гузаре, были уже километрах в двадцати от него и приближались к первому колодцу.

Шли они по следам людей и собак, пробежавших с криками и лаем, шли, держа охотничьи ружья и готовые в любую минуту дать залп.

Больше у гузарцев ничего не было: ни рюкзаков, ни котелков с пресной водой, ни еды, а ведь там, куда они держали путь, простирались на сотни километров одни пески.

Но это, кажется, меньше всего их беспокоило. Увлеченные погоней, они не думали, что может стать им дурно от солнечного удара или жажды.

Так шли они, осматривая каждую яму и каждый бархан и почти не останавливаясь, ибо здесь, до самого колодца, все было уже проверено идущими впереди.

Возле колодца стояла глиняная кибитка, где обычно летом дежурит кто-нибудь из пастухов.

На всякий случай, из предосторожности, Вали-баба приказал шестерым залечь на бархане, направив ружья в сторону кибитки, а сам с тремя гузарцами стал подкрадываться к колодцу. Впрочем, хитрость эта была излишней — ведь люди с собаками задолго до их прихода уже обшарили все темные углы кибитки и все вокруг нее на расстоянии версты и даже опустили одного из своих в колодец.

Но кто знает, сколь добросовестны эти люди?! Ведь не зря же беспокоился Вали-баба о том, надежна ли будет новая охрана колонии, не зря думал и переживал. И вот результат — прозевали трех уголовников, прошляпили, а те, сделав подкоп в тюремной стене, бежали в полночь на волю.

Нет, не было и не будет уже после команды Вали-бабы более надежных караульных в колонии — в этом гузарцы убеждены. А с ними вот обошлись не совсем благородно, оставили в Гузаре мешки таскать и водолазов обслуживать.

Но что бы там ни было, бывшие караульные готовы сейчас выполнить свой долг до конца, схватить беглецов и доставить их обратно в колонию.

В пустой кибитке все было разбросано, перевернуто — обыск провели на совесть. Но куда же исчез пастух?

«Может, он сговорился с беглецами?» — первое, что пришло на ум Вали-бабе.

— Нет смысла нам дальше идти по следам караульных, — сказал он, позвав товарищей на совет. — Будем искать беглых мошенников самостоятельно.

— Верно, — обрадовались товарищи, — сами, нашей старой командой.

— Тогда давайте думать, какой верный маршрут нам выбрать.

Конечно, было бы более разумным догнать караульных с собаками, думал Вали-баба. Можно узнать у них точные приметы беглецов. Но так они могут забрести за ними бог знает куда, и ещё неизвестно, как встретят их штатные караульные.

Лучше самим вести поиск. Ведь сумели же они, изучая следы, расспрашивая встречных людей, точно определить количество беглецов.

И есть еще у них в руках, правда, пока разрозненные, противоречивые сведения о том, какого роста беглецы и во что обуты. Надо собрать еще кое-какие данные, сесть, обдумать, отбросить ложное, всякие слухи и видения, — и тогда можно вполне отчетливо составить зримые портреты преследуемых... Но это по ходу дела.

— Все идет правильно, — сказал Вали-баба.

Действительно, ведь еще вчера они бежали почти вслепую, словно гнались за призраками.

А все началось с дикого лая овчарок.

Почти до полуночи, как обычно, играли гузарцы в домино и уже собрались было расходиться по домам, как вдруг застыли, услышав за дорогой лай овчарок.

— Слышите, это наши овчарки? — узнали голоса тюремных собак, заволновались — так было все неожиданно, и так они соскучились по этим голосам...

Закричали:

— Погоня!

И не сговариваясь, будто давно ждали этой минуты, бросились гузарцы за ружьями.

И, как по боевой тревоге, бежали туда, где мерцали десятка два фонарей, бежали, не вспомнив даже о своей завт-

рашной работе на реке, потому что знали — то, что будут делать теперь, важнее всего. Овчарки звали с собой в долгий путь их, настоящих караульных, а те, кто ведет сейчас собак на поводке, эти не справятся, только зря помучают животных, сами сойдут с дороги от жары и жажды и вернуться в колонию с пустыми руками.

— Так вот, — продолжал Вали-баба совет в кибитке, — в жару они долго не протянут в пустыне...

И рассказал товарищам, что днем беглецы будут сворачивать к селам и искать прохладу, а ночью опять уйдут в пески. Но не в крупные села, где есть милиция, туда они не рискнут... Самые удобные для них маршруты — это овечьи тропы, где можно одурачивать пастухов, поесть у них и попить, а потом уйти в саксауловые заросли.

— Не мешает нам посетить кладбища и мазары, — говорил Вали-баба, — они отличные места для укрытия.

Да, так должно быть, но вместе с тем понимал Вали-баба, что все может оказаться наоборот. Не маленькие села, скажем, посетят беглые уголовники, а большие, где попытаются достать одежду, заgrimироваться и сесть на какой-нибудь станции в поезд, ловко запутав следы.

Все зависит от ума и смекалки преследуемых и от того, хорошо ли продумали будущий маршрут, когда длинными ночами рыли подкоп.

Но в одном Вали-баба абсолютно уверен: беглецы не знают местности, расположения колодцев и сел в пустыне, где даже пастухи нередко блуждают с отарами. Уголовники, сидящие в колонии, все из дальних мест, из северных и западных краев. Но ведь и они, гузарцы, тоже впервые участвуют в погоне.

Все долгие годы простояли они в своих башнях, ни разу не выезжали за пределы села, позабыли все тропы и дороги, по которым в молодости гнали овец на пастбища.

И сейчас в общем-то выходит, что положение и пресле-

дователей и преследуемых равное: те отчаянно убегают, а эти отчаянно пытаются догнать их в незнакомой, вернее, забытой пустыне. Единственная карта в руках Вали-бабы — это сама пустыня, и тут надо брать себе в союзники все: и следы на песке, и направление ветра, и очертание барханов, запахи, и даже полет птиц, ибо кружатся они обычно там, где чувствуют живое.

Точно такая же карта находится у беглецов, и все теперь зависит от того, кто больше прочитает в ней зашифрованных обозначений.

— Но тут, — сказал в заключение Вали-баба, — преимущество на нашей стороне. Ведь нас учили читать следы в пустыне. Учили ли этому беглецов — неизвестно...

Впрочем, тут же поймал он себя на мысли: ведь неизвестно, какой это на их счету побег. Если второй или третий из разных колоний, то шансы команды поймать их и шансы беглецов уйти безнаказанными снова оказываются равными...

Итак, команда Вали-бабы решила идти теперь собственным путем.

## 5

Однако все оказалось значительно проще, чем думали. Встречая на своем пути пастухов и допрашивая их, Вали-баба в тот же день получил много важных сведений.

Узнала команда, что, кроме штатных караульных с овчарками, бросились искать беглецов и милиционеры из ближних сел. На всех дорогах и перекрестках установили они посты и никого не пропускают без тщательной проверки.

А главное, с севера и с юга милиционеры пошли навстречу друг другу, прочесывая каждый метр пустыни. И теперь, если беглецы не успеют достигнуть восточных гор — все, быть им в ловушке. Назад, на запад, нет им возврата, там колония.

Таким образом, смекнул Вали-баба, остается еще свободной узкая полоса между идущими навстречу друг другу милиционерами, но и она с каждым часом сокращается.

Вот по этой полосе, должно быть, и бегут сейчас мошенники, и надобно круто изменить маршрут, чтобы не дать им возможности скрыться в горах.

Только бы не прозевать момент, успеть взять их своими руками! Иначе, если схватят их первыми штатные караульные, останется в душе горечь — значит, зря все это затеяли, зря волновались. Нет, все уже решено, беглецы должны быть в руках у Вали-бабы и его товарищей!

Итак, вперед!

Если днем вдруг веяло прохладой, значит впереди, за горячими барханами, встречали маленький оазис, пастушье село. Ночью же все наоборот. Жар уходил в землю, и становилось холодно.

Караульные, ушедшие из домов без кителей и шинелей, укрывались сухой травой и саксаулом, а под головы стелили шкуры варанов, этих крокодилов пустыни.

Одни только села по ночам не успевали остыть и дышали резким теплым ветром.

Всякий раз, когда встречали на пути село, Вали-баба, прежде чем идти, советовался с товарищами:

— Пройдем село стороной или остановимся, чтобы набрать воды?

— Лучше остановимся, — говорили уставшие товарищи.

— А если натолкнемся там на милиционеров?

— Тогда решай сам.

Если дело было ночью, команда, держа ружья наперевес, входила в село с безлюдной его стороны, по полям, скрываясь в зарослях джугары.

Те, кто шел сзади Вали-бабы, ломали стебли и высасывали из них терпкий желтый сок, как делали это в детстве, когда пасли на полях соседнего села коров.



Раз Вали-баба не выдержал и тоже попробовал сок, но выплюнул и выбросил стебель, затошнило с непривычки.

А вся команда продолжала хрустеть, жевать стебли, соскучившись по джугаре.

Так шли они, минуя села и колодцы, торопились за беглецами по узкой свободной полосе к горам...

## 6

Пока увидели, наконец, горы вдали, дважды попадали в неприятное положение. И оба раза из-за штатных караульных.

Первый раз повстречались они метрах в пятистах справа; в полном облачении, с овчарками на привязи и вскинутыми карабинами, в жарких суконных мундирах и сапогах. От неожиданности команда бросилась на песок и поползла к бархану, чтобы спрятаться. И долго не мог определить Вали-баба, откуда дует ветер, нервничал.

Благо, ветер дул со стороны караульных, поэтому овчарки не заметили, ушли.

— Еще немного, и кончилась бы наша операция позорно, — сказал Вали-баба и впервые за все это время поругал команду: — Я вижу, вы все расслабились, тянет вас в села. Жуete всякую гадость в зарослях...

Товарищи приуныли, и каждый был готов взять вину на себя — лишь бы между ними царил всегдашний мир и покой.

— Верно, — поддержал старшего команды Калихан, — дисциплина хромает...

Но чтобы не осложнять далее отношения, Вали-баба сказал примирительно:

— Прошу, мужики, подтянитесь, чтобы не жалко было на нас смотреть со стороны.

Решили после его слов сделать короткий привал, чтобы почистить ружья и привести себя в порядок.

Вторая встреча со штатными караульными была более драматичной. На сей раз появились они слева и на очень близком расстоянии. Чутким ухом услышал вначале Вали-баба хрип овчарок. Показалось, что вот уже сейчас, через минуту, увидят они морды собак и раздастся крик «стой!», топот ног, шуршание песка, и караульные поймают их. Станут допрашивать: кто, откуда? Пропала вся операция!

Но так показалось от замешательства. Прошла тревожная минута, овчарки все хрипели, не лаяли — значит, мелькнуло у Вали-бабы, пока не учуяли.

Овчарки и вправду были еще на расстоянии пятидесяти метров. И Вали-баба полз к бархану, увлекая за собой товарищей. Ветер, как назло, дул теперь прямо в морды овчарок, но если успеет команда взобраться на бархан и если постовые окажутся уставшими, не полезут за ними проверять, и еще; если у овчарок от однообразных запахов пустыни притупилось обоняние — значит, можно считать, что опасность миновала и что теперь беглецы окажутся в руках Вали-бабы и его товарищей.

Закопали себя в песок удивительно быстро, легли, закрыв лицо пахучей травой, чтобы сбить с толку овчарок, пролежали долго, около часа, наверное.

Собаки ни разу не залаяли, постовые не закричали, значит, ничего подозрительного не обнаружили, ушли.

Да, ушли. Вали-баба вылез наполовину из песка и увидел сверху спины постовых в мокрых, покрытых солью гимнастерках. Пошли дальше, прочесывая узкую полосу и желая поскорее встретиться со своими товарищами.

И северные и южные постовые уже достигли этой единственной свободной полосы, по которой бегут уголовники. Команде надо торопиться; еще каких-нибудь полдня, и беглецы будут окружены со всех сторон, если не успеют достигнуть гор...

А вон, кажется, и сами беглецы!

Три маленькие фигурки изо всех сил бежали к спасительной горе, падали от изнеможения на камни, упавшему помогали встать, раненого несли на руках.

Увидев их, закричал Вали-баба:

— Дружны, стервецы, как братья!

Двое высоких и один маленький, очень маленький, ростом чуть ли не в полтора раза ниже своих товарищей — значит, это они, беглецы, приметы сходятся.

— Дружны! — кричал Вали-баба. — А ну, гузарцы, догоним!

Вот они уже достигли горы, стали карабкаться наверх, но все трое упали — круто очень.

Тогда спустились обратно и побежали мимо скалы в поисках тропинки.

И вот тут-то, сбавив скорость, допустили первую оплошность — команда приблизилась к ним на расстояние ружейного выстрела.

Отсюда Вали-баба раньше беглецов увидел тропинку в скале. Ровной лентой поднималась она наверх, никуда не сворачивая, значит, смекнул Вали-баба, беглецов можно будет не выпускать из поля зрения.

А вон и вторая, еле заметная, видимо, заброшенная тропинка тоже идет к вершине скалы.

Вершина не острая, и, чтобы подтвердить свою догадку, Вали-баба поднялся на бархан. Да, на скале ровная, широкая площадка, даже две площадки, вроде ступенек, а оттуда идет узкий каменный мост к самой горе.

Прекрасно, поднявшись на скалу, беглецы попадут в ловушку. Навряд ли смогут потом пробежать по мосту к горе, испугаются. Но если они пройдут, беглецы, пройдет за ними и команда.

— Братцы, пустим их на скалу? — спросил Вали-баба. Товарищи поняли его хитроумный ход, заулыбались, мол, пустим.

Беглецы были теперь на тропинке. Особенно трудно приходилось маленькому, и его все время поддерживали высокие.

Делали они это не злясь, хотя каждое его падение задерживало их на опасной тропинке; видно, высокие беглецы были чем-то обязаны маленькому.

Теперь уже можно было заметить, что все они успели преодеться в гражданское, в какие-то куртки и штаны, которые носят геологи.

Рассмотрев беглецов хорошенько, Вали-баба повел команду к заброшенной тропинке, думая одновременно с уголовниками подняться на площадку скалы.

Расчет его оказался верным. Незаметно поднявшись на верхнюю площадку, команда затаилась там.

И тут же следом за гузарцами достигли нижней площадки измученные, но невероятно счастливые беглецы.

Оглянувшись на путь, который они проделали, на тропинку и на камни у подножья и не увидев погони, беглецы бросились обнимать друг друга. Стонали, будто захлебывались от слез, и кричали, словно давились от смеха.

— Свобода, — шептал маленький, — свобода... — Да так нежно и с таким благоговением, будто находился не на скале среди раскаленных камней и орлиных перьев, а у себя дома, в кругу семьи.

Глядя на этих людей, на минуту забыл Вали-баба про свои обязанности и про то, где находится, подумал, что сам он, наверное, никогда так не был счастлив, так по-настоящему доволен, ни в детстве, ни потом, на службе в сторожевых башнях, был только горд, что имеет власть, пусть даже маленькую, над своими товарищами-сослуживцами и над уголовниками-колонистами. Но ведь власть не делает человека счастливым.

Беглецы теперь упали на колени, обессиленные, растянулись на камнях, их мучил сон, но от сильного возбуждения не могли сразу уснуть, стонали в полузабытьи.

Команда, сидя наверху, не сводила с них глаз.

А беглецы еще долго мучились от усталости и кошмара. Ползали с закрытыми глазами, словно искали удобного места.

Потом каждый из них лег, прижавшись к жарким камням, стон прекратился, и беглецы стали забываться.

Чтобы не дать им набраться сил, Вали-баба взял камень и бросил его вниз, на площадку. Камень упал возле ноги маленького и покатился дальше по тропинке вниз.

Маленький поднял голову и посмотрел вокруг, ничего не понимая. Видя, что единомышленники его спят мирно, он снова лег, думая, что померещилось.

Второй камень был беспощаднее и попал ему прямо в руку.

## 8

Беглец вскрикнул, но не от боли, от ужаса. И ужаснул его вовсе не брошенный камень, а тени, падающие с верхней площадки. Тени людей и ружей в тишине, в предательском, беспощадном молчании гор.

«Бесполезно», — подумал беглец и поднял руки, отдаваясь на милость победителей.

И еще он подумал с грустью: «Как глупо...»

— Разбуди этих, — приказал ему сверху Вали-баба.

Беглец упал и пополз сначала к одному товарищу, затем ко второму. И, боясь прикоснуться к ним, а может быть, понимая, что будить их бесполезно, возвратился на свое прежнее место и снова застыл с поднятыми руками.

— Спящих как-то неудобно связывать, — сказал Вали-баба, спускаясь на площадку беглецов. И снова приказал маленькому: — Кричи, скажи, чтобы мошенники твои просыпались.

За эти минуты лицо маленького настолько изменилось, что

перед Вали-бабой неожиданно предстал уже совершенно другой человек, как будто четвертый беглец.

«Правильно говорят в таких случаях: на человеке лица нет», — отметил про себя Вали-баба.

— Тогда свяжи их сам, — приказал беглецу Калихан и посмотрел на солнце — оно уже опускалось за гору, предвещая быстрые сумерки.

К ногам маленького бросили веревку. Но и со вторым приказом он не в силах был справиться, стоял не шелохнувшись, по-прежнему подняв руки.

Пришлось Калихану и еще двум из команды самим связывать спящих.

Те только простонали во сне, видимо от дурных видений. Но когда погнали маленького вниз, а этих двоих спящих стали тянуть волоком, беглецы проснулись наконец, но уже внизу, на тропинке.

Вали-баба смотрел на них, ожидая бурной реакции, истерики или чего-нибудь в этом роде. Но беглецы, которым все это давно осточертело: вся эта погоня, бессонные ночи, усталость и голод, — довольно спокойно встретили свое новое пленение, будто бежали лишь затем, чтобы поспать часок-другой на свободе, в горах, а потом снова возвратиться в колонию отбывать оставшийся срок.

Единственное, что удивило их, — это сама команда. Не охранники, не милиционеры, а просто десять мужчин с ружьями вели их по тропе.

Кто же они? Добровольцы? Любители острых ощущений? Или похуже их самих — бандиты, которые хотят взять с них выкуп и отпустить?

Вали-баба шел и напрягал память, думая о том, видел ли он беглецов в колонии. Может, мелькнули когда-то их лица среди тысяч колонистов?

Нет, никого он не вспомнил, воспринимал всегда колонистов как огромную серую массу, всех на одно лицо. Беглецы

тоже никогда не поднимали вверх головы, чтобы посмотреть на караульных. Словом, те и другие считали, что встретились впервые.

Ладно, пусть будет так, главное, теперь незаметно провести пленников через пустыню, чтобы, не дай бог, не повстречались штатные караульные.

Команда из сил выбилась, пока поймала беглецов, а эти появятся, можно сказать, на готовое, поблагодарят и увезут мошенников к себе в колонию. И лавры и почет, все им достанется.

Вали-баба передаст уголовников караульным в другом месте и при других обстоятельствах, а сейчас надо проделать весь долгий путь обратно домой.

— Развязать им руки! — приказал Вали-баба.

Беглецов освободили, и те, усмиренные, тихо поплелись впереди строя.

Прошли у подножия горы, покрытого камнями, затем по узкой полосе солончака, и впереди людей ждали три долгих утомительных дня пути по горячим пескам.

А из расщелин горы выполз пар, закружился над скалой, словно посылая беглецам прощальный привет...

## 9

Железные ворота замка снова распахнулись.

Внутри темного коридора зажглись фонари, но люди почти не видели друг друга. Сырые теплые стены поглощали весь свет, и даже тогда, когда горели здесь лампочки в сетках, в коридоре стоял полумрак.

Где-то в середине коридора пленных остановили. Вали-баба вынул связку ключей, долго перебирал их, затем приказал посветить ему. Там, куда направили свет, была потайная дверь, но пользовались ею редко, лишь когда привозили новых колонистов и вели их в канцелярию оформлять доку-

менты. Для нужд каждого дня пользовались люком с лестницей. Засохшая дверь поддавалась туго. Ее долго толкали. Беглецы же, воспользовавшись задержкой, смотрели на железные двери барачков. Искали свой с номером четыре.

Потайную дверь наконец взломали. Дохнуло плесенью и порохом. Отсюда, как и из всех дыр и щелей замка, вылетели крылатые мыши — эти слепые сторожа всех покинутых тюрем.

Переступив порог, очутились в том помещении, где отдыхали между дежурствами караульные. Здесь были три смежные комнаты, одна для игр в домино, другая — читальня и последняя, где сдавали карабины.

Беглецы молчали. Вялость и сонливость исчезли, как только пришли в замок. Было любопытно следить, куда их ведут, и зачем, и что же будет дальше.

Никто, естественно, не предполагал, что увидит вновь замок, свою бывшую колонию. Разве лишь когда окажутся на свободе и будут проезжать мимо. Да и то навряд ли.

— Будете жить по-царски, — сказал Вали-баба, переходя из одной пустой комнаты в другую и осматривая их, проверяя надежность стен и пола. Но, сказав так, он тут же вспомнил всю строгость обстановки, и голос его сделался суровым: — Пospите пока на полу. Матрацы получите завтра.

— А почему нас не поместили в четвертом бараке? — спросил беглец маленького роста.

— Разговоры! — строго прервал его Калихан.

В первой комнате заперли его, маленького, в других — остальных, высоких.

Решили не расходиться, а дежурить всем вместе, ибо соскучились по службе.

В узких коридорах между комнатами толпились по три человека, дыша друг на друга потом и запахом саксаула.

Прелые от жарких сапог ноги подкашивались, хотелось сесть на пол, перевязать портянки, но нет, не сиделись, делали по очереди два шага вперед — два назад, по привычке прижав



ружья к плечу. И каждые пять минут смотрели в глазок на двери, смотрели напряженно и подолгу.

Двое беглецов сразу же растянулись на холодном полу, прижав щеки к плитам — уснули. И только маленький сидел спиной, и нельзя было понять, что он намерен теперь делать.

Вали-баба поднялся наверх, во двор замка, долго бродил в одиночестве с сознанием исполненного долга.

Он решал, как построить завтрашний день и все последующие дни, пока беглецы будут находиться в замке.

И подумал о начальнике колонии, о том, что тот скажет, когда узнает про все это. Объявит, конечно, благодарность и все такое.

Чепуха, не это главное. Никому они не мстят, ни с кем не соревнуются, просто исполняют не служебный, так гражданский свой долг.

«В своей работе мы должны опираться на помощь гражданского населения», — вспомнил Вали-баба наставление начальника колонии.

Хотя тогда это относилось к другим, к людям за пределами замка, но теперь по иронии судьбы или по чистой случайности Вали-баба и его товарищи и есть это гражданское население.

Вернувшись со двора, Вали-баба обошел все караулы, расспрашивая о новостях. Затем сам посмотрел в глазок. Выбившись из сил, маленький спал, как и двое его товарищей...

**10**

День решили начать с допросов.

В главную комнату замка, где находился ранее кабинет начальника колонии, привели к Вали-бабе одного из высоких.

Откуда-то достали стол для Вали-бабы и табурет, на котором он теперь восседал, олицетворяя закон.

— Фамилия?

— Нуров, — поспешно отозвался высокий, все еще, видимо, не сознавая серьезности положения.

— За что осуждены?

— За угон автомобиля. На пять лет исправительно-трудовой... Два из них уже просидел.

— Теперь еще добавят, — вставил Калихан.

— Это само собой, — с грустью признался беглец. И тут же начал говорить быстро, словно боясь, что его прервут, говорил, проглатывая слова и даже целые фразы. — Это все маленький. Он подкопом ведал. А мы только исполняли...

— Все вы только исполняете, — с отвращением сказал Вали-баба. — А зло за вас замышляют другие... Что это был за автомобиль?

— Думал, частника. А оказался конторский.

— Первая судимость?

— Вторая ..

— А тот срок полностью отсидели, не бежали?

— Нет, не бежал. Маленького не было рядом. — Беглец впервые стал внимательно приглядываться к ведущему допрос. Сама форма вопросов, не профессиональная и даже наивная, любительская, строго-напускной вид сидящего напротив, все это несколько удивляло Нурова и нравилось ему.

До этого ему задавали, как правило, односложные, часто повторяющиеся вопросы, внешне не требующие почти никакой информации, но на самом деле построенные так умело, что отвечающий, если он лгал, непременно запутывался и начинал помимо своей воли говорить правду и одну лишь правду, невыгодную для себя. Проникнувшись к Вали-бабе какой-то симпатией, Нуров приготовился отвечать дальше, но ведущий допрос неожиданно отпустил его, сказал:

— Ответы ваши мы проверим. Идите.

— Когда вы вернете нас в колонию? — спросил беглец, желая получить для себя хоть какую-нибудь выгодную новость, но Калихан толкнул его к выходу.

Привели второго высокого.

— Фамилия?

Этот беглец был крайне подавлен, все время хмурился и отводил глаза в сторону, недовольный тем, что его разбудили.

— Парпиев... Что вам нужно? Кто вы такие?

— За что осуждены?

— Я уже отвечал. Надоело!

— Кому отвечали?

— Вам отвечал, им отвечал. Кто вы такие? Не имеете права!

— За что осуждены? — хладнокровно повторил Вали-баба.

— Деньги печатал. Фальшивые монеты. Три просидел, оставалось двенадцать.

— Кто рыл подкоп?

— Так бы, дядя, и спросил с самого начала! Мы рыли, я и Нуров, а маленький, стервец, нами верховодил. Как я жа-лею, что не бросил его в песках, когда он подвернул ногу! Сожрали бы его коршуны!

— Уберите его! — сразу же утомился Вали-баба.

Казалось ему, что вся эта шайка будет держаться стойко, как и подобает единомышленникам и товарищам, и Вали-баба уже готовился к трудному поединку с каждым из них, казалось, будут лгать, изворачиваться, не выдавая своих тайн и секретов и того, кто день за днем готовил им путь на свободу.

«Мелкие, сварливые мошенники», — отметил про себя с неприязнью Вали-баба, когда прогонял Парпиева.

— Ублюдки! — продолжал ругаться он, пока вели к нему третьего беглеца.

Вот таким злым, нервным встретил он маленького, и едва тот переступил порог, не выдержал, закричал:

— Это вы главный среди них?

Беглец зажмурился, словно получил удар в лицо, и сказал тихо, желая усмирить Вали-бабу:

— Нет, я не главный. Я рядовой.

— Вы учили их, как надо рыть подкоп? Признавайтесь, мы все знаем.

Беглец уже много раз слышал эту дежурную фразу следователей: «Признавайтесь, мы все знаем», — боялся ее, потому что ничего не собирался скрывать.

— Да, это по моей специальности. На гражданке я был инженером по туннелям. А фамилия моя Мусаев, возраст сорок лет, уроженец Бухары, — отвечал охотно беглец, зная заранее, какие вопросы будут следовать и в какой очередности.

— Значит, признаете себя виновным? — устало проговорил Вали-баба.

— В чем? — не понял Мусаев.

— В том, что руководили подкопом, черт побери!

— Признаю, — мягко сказал Мусаев.

— А ранее? На сколько были ранее осуждены?

— На год.

— Всего на год? — вырвалось у Вали-бабы.

— Да, всего, — удивленно посмотрел Мусаев на собеседника. Такие вопросы, да еще с таким участием задают либо совершенно неопытные следователи, либо на гражданке друзья или знакомые.

Удивившись, Мусаев стал думать: кто же перед ним, этот ведущий так неопытно допрос?

— Какая глупость! — возмутился Вали-баба. — Человек осужден всего на год, чего еще надо — сиди спокойно, жди, нет, бросился рыть подкоп. И теперь вместо года получит, наверное, еще три добавочных. Глупость, гражданин Мусаев! Никто вам не простит ее!

— Возможно, возможно, — почувствовал себя свободнее беглец. К нему снова вернулась его всегдашняя вежливость

и склонность к иронии. — И что самое интересное, гражданин следовательно, ведь просидел-то я уже шесть месяцев и осталось ровно столько же, чепуха... Нет, видно, до самой смерти не избавлюсь от дурной привычки рыть в земле всякие ходы и выходы, подкопы и всякие иные сооружения, как крот. Лапы чешутся.

Вали-баба молчал, внимательно слушая беглеца. Впервые за все годы работы в колонии сидел вот так, свободно, лицом к лицу с уголовником.

«Должно быть, очень занятно работать следователем, — подумал он. — Куда занятнее, чем делать все остальное в колонии»...

Глядя на Мусаева, Вали-бабе даже захотелось решить какой-нибудь из следовательских ребусов. Ну, например, этот, самый легкий для начала. За что человеку могли дать такой маленький срок, всего один год?

За хулиганство и дебош? Маловероятно. Сидящий перед ним человек — кроткий, ученый. По этой статье обычно привозят в колонию пьяниц, людей без определенного места жительства, тунеядцев и им подобных.

Значит, что-то по службе. Скажем, обвал в туннеле, но без жертв. Нет, даже для обвала без жертв срок один год — маленький. За это дают, кажется, по крайней мере года три.

Вали-баба решил степень вины Мусаева определить, так сказать, психологически и потому внимательно посмотрел на беглеца. Взгляды их встретились. Вали-баба поежился, беглец, видно, тоже изучал его. Кто кого?

Да, люди с такими нервными лицами, щупленькие, с неразвитой мускулатурой и грудной клеткой бывают, как правило, ревнивцами. Ревнуют жен, любовниц, часто безо всякого на то основания и в конце концов доводят себя до такого состояния, что бросаются на них с кулаками.

«Черт побери, любовная история», — выругался про себя Вали-баба, потеряв интерес к своему следовательскому занятию.

— Так, а посажены вы за ревность! — сказал он, решив поскорее избавиться от беглеца.

— Ревность? — Мусаев сконфуженно улыбнулся. — Нет, боже сохрани, я человек рациональный. Ревность для меня слишком хлопотное занятие. Увы!

— Я не настаиваю, — смягчился Вали-баба. — Это мое личное предположение.

— Удивительный вы человек! — воскликнул беглец. — Вот все изучаю вас и не могу понять: с кем имею дело и где я? Вы слишком не подходите для вашей роли.

— Тут не вы должны меня изучать, а я вас. Вы беглец и уголовник. Идите! — рассердился Вали-баба, поняв, что имеет дело с умным собеседником, а разговаривать с ним и вести допрос неподготовленным — все равно что самому оказаться на месте допрашиваемого...

## 11

Никто в Гузаре, да и во всей округе, не знал, что творилось в замке.

Вали-баба тщательно скрывал все, приняв меры предосторожности. Уверен он, что гузарцы, бывшие работники колонии, ее повара и прачки, непременно прибежали бы в замок поглядеть на уголовников, вмешивались бы во все, давая ненужные советы.

Ничье постороннее мнение, здраво решил Вали-баба, никакое давление извне, ни слухи, ни домыслы — ничто не должно влиять на ход дела, бывшие караульные сами во всем разберутся. Продукты брали поэтому в соседнем селе, куда с наступлением сумерек отправлялся Калихан, а утром он уже готовил беглецам бесхитростный обед, соблюдая все установленные в колонии нормы и граммы.

Строго в положенные часы выводили потом их на прогулку по двору замка; утром ровно в шесть будили мошенников, а в полночь разрешали им уснуть.

Единственное, что беглецам не приходилось теперь делать, так это выходить за пределы замка на каждодневную работу — были они на это время освобождены от рытья каналов и строительства в пустыне.

Но один раз пришлось все-таки команде пережить несколько неприятных минут. Дозорный, который стоял в башне, сбежал вниз и доложил Вали-бабе, что строители в перерыв переплыли реку и направились к воротам замка, видимо желая еще раз осмотреть его.

Команда, собравшись во дворе, слушала, как толкали строители ворота, как стучали и звали Калихана, спорили, чем лучше открыть засов, но, так ничего и не решив, пошли обратно к лодкам.

Беглецы, сидя в своих камерах, тоже услышали стук в ворота и принялись бить кулаками по дверям, словно звали этих посторонних на помощь.

Калихан бросился утихомиривать их, толкнул высоких, и те упали, ослабевшие, на пол, а маленький, самый благо-разумный из них, сам успокоился.

Вали-баба решил наказать беглецов — лишив их всех на сутки обеда.

Самый сварливый беглец, Парпиев, вновь сваливал все на Мусаева, будто он, когда еще сидели в колонии, научил их на всякий посторонний стук отвечать из камер, как бы заявляя о себе внешнему миру.

— Знаю, — сказал Парпиев, — Мусаев вам голову заморочил, заявляя о своей невинности. Вот вы и слушаете часами его рассказы.

— Ничего он такого не заявлял, — поморщился Вали-баба.

— Странно, — недоверчиво усмехнулся Парпиев. — А вы спросите у него. И узнаете, как это можно быть и виновным и невинным одновременно.

— Уведите! — приказал Калихану Вали-баба.

— Что это был за дурацкий стук? — грубо спросил он у Мусаева.

— Вы имеете в виду тот, который доносился к нам снаружи?

— Не стройте из себя идиота, Мусаев! Я говорю о вашем стуке.

— Понял, простите, — стал извиняться беглец, — профессиональная привычка. Никак от нее не избавлюсь. Видите ли, когда строители прокладывают туннель, они всегда перестукиваются, чтобы узнать, далеко ли их товарищи. Ведь могут быть обвалы и всякое непредвиденное...

— Вы признаете себя виновным? — от рассеянности повторил свой прежний вопрос Вали-баба.

— Да, я рыл подкоп и не отказываюсь от прежних показаний.

— На сколько вас ранее осудили?

— Я уже говорил: на год.

— Сколько дней вы рыли подкоп?

— Дней? — горько, как бы жалея Вали-бабу, улыбнулся беглец. — Если бы дней... Подкоп в тюрьме мы рыли столько же, сколько туннель средней длины. Три месяца. Но учтите, что подкоп был раз в двадцать короче.

— Понимаю, — съязвил Вали-баба, — не было техники.

— Вы удивительно догадливы! — отпарировал беглец.

Вали-баба минуту молчал, сдерживая себя, чтобы не наговорить допрашиваемому грубостей за его столь независимое поведение. И продолжал:

— В первый день вы сказали, что сидите уже шесть месяцев, то есть половину срока. Три из них вы истратили на рытье бесполезного подкопа. А чем занимались остальное время, обдумывали? — спросил Вали-баба, сам того не замечая, что вопросы его вновь приняли любительский характер.

Зато от внимания Мусаева ничего не ускользало, потому он с такой готовностью ответил:



— Никак нет! На обдумывание ушло ровно две ночи. Днем, когда нас выводили на работу, я осмотрел местность, прикинул на глаз толщину стен... После двух ночей обдумывания дружно взялись за дело.

— Таким образом...

— Таким образом, за шесть месяцев мы вырыли не один, а целых два подкопа.

— Как это два?! Значит, вы еще раньше помогли бежать другой группе? Рассказывайте!

— Смею вас разочаровать. Никому я больше не помогал бежать. Тот первый подкоп остался, к сожалению, незаконченным. Нас ведь, как вы знаете, перевели из этого замка, — сказав так, беглец ожидал реакции собеседника, желая понять, знал ли Вали-баба о существовании на месте замка колонии, а если знал, имел ли к ней какое-нибудь отношение.

Вали-баба слегка побледнел, выдавая себя, а стоящий рядом Калихан даже закричал:

— Врешь! Нет здесь никакого подкопа. Замок охранялся надежно!

— Тогда, позвольте, я покажу вам незаконченный подкоп, — улыбнулся Мусаев, поняв наконец, в чьи руки попал. О том, что эти люди работали раньше в охране, говорили и их грубые, обветренные руки, и походка, неторопливая и четкая, и знание тюремного распорядка. А главное то, что они правильно сориентировались в пустыне и поймали их, беглецов.

— Прекрасно! — Вали-баба и его товарищи встали. — Показывайте!

**12**

Услышав за дверьми шаги и видя, что Мусаева ведут куда-то, соучастники его снова забарабанили тревожно по стенам, да так сильно, что Калихану опять пришлось призвать их к порядку.

185

Но беглецы умолкли не сразу, видимо, были сильно обеспокоены судьбой Мусаева. «Странные эти мошенники, — подумал Вали-баба, шагая за Мусаевым по коридору замка, — на допросах всячески чернят его, а в камерах стучат, протестуют...»

Мусаев почти наугад остановился возле дверей одного барака, а когда осветили, то оказалось, что это как раз тот самый, четвертый.

— Открывайте.

Калихан выбрал из связки ключ с биркой «4» и отворил дверь. Дохнуло на всех отстоявшимся барачным запахом, и Мусаев, кажется, даже испугался, сказал:

— Странно, наши запахи... И, наверное, никогда не выветрятся из-за плохой вентиляции замка.

Барак осветили множеством фонарей, но свет и здесь, как и в длинном коридоре, бледнел и исчезал куда-то без пользы.

Беглец отсчитал от двери какое-то количество плит, остановился и показал одну, в правом углу.

— Это здесь...

Четыре человека из команды принялись поднимать тщательно замаскированную, ничем не подозрительную плиту, подняли ее наконец и обнаружили дыру.

— Вот! — показал на свою работу Мусаев. — Кто желает спуститься?

Но ответа не услышал: Вали-баба и товарищи стояли растерянные, чувствуя свое поражение.

Один за другим подходили к яме, наклонялись и освещали ее фонарями, как будто исполняли полный таинства ритуал.

— Тогда разрешите? — Мусаев просунул в дыру ноги, и не успел Калихан остановить его, как беглец прыгнул и скрылся с головой в полумраке.

Сверху направили на него ружье, но беглеца это не смутило, он принялся объяснять, что к чему:

— Как видите, здесь подкоп идет вниз метра на два. Затем сворачивает направо, вроде буквы Г и идет под стеной... Подкоп рассчитан на человека средней упитанности, примерно такого, как вы, гражданин следователь. Кроме того, у беглеца должны быть крепкие легкие, иначе на десятом метре можно задохнуться от паров и потерять сознание...

— Ну, вылезайте! — приказал Вали-баба, чувствуя, что беглец овладел обстановкой, а они слушают растерянные, разинув рты и как бы признаваясь в своем полном бессилии.

Когда Мусаев вылез из ямы, Калихан все же проворчал:

— Не думайте, мы вас и тогда поймали бы.

— Возможно, — ответил беглец, — не спорю. Операцию вы провели отлично.

Вали-баба молчал, обдумывая сказанное беглецом. Да, операцию провели отлично, это даже Мусаев признал. Но и он сам, беглец этот, не лыком шит, достоин восхищения, два подкопа — это же надо уметь!

Вали-баба сильно вырос в собственных глазах, оказавшись более хитрым и настойчивым, чем Мусаев. Ведь за такого человека повышают в чине и дают медаль.

— Назовите ваших сообщников, — потребовал он у беглеца.

— Они сидят сейчас в замке.

— Но ведь в бараке были и другие?

— Те, кто видел наше занятие, давно на свободе. Срок их благополучно кончился!

— Но ведь они помогали вам?

— Нет, я не хотел, чтобы они рисковали.

— Молчаливые соучастники?

— Нет, почему же?! Многие даже уговаривали нас не делать подкоп, считая это бесполезным.

— Мудрые люди! Как они оказались правы!

- О, да!
- А вы до сих пор убеждены, что надо было копать?
- Убежден, разумеется...
- Почему?
- Знаете, давайте выйдем из барака. Ведь я могу шмыгнуть в дыру, и вам надо будет много потрудиться, чтобы вытащить меня обратно...
- Уведите! — раздраженно проговорил Вали-баба.

## 13

Только первые два дня беглецы были возбуждены и проявляли какой-то интерес к жизни. Приглядывались, изучая личности этих странных людей, поймавших их, думали о своих промахах и ошибках во время бегства по пустыне. И о разных разностях.

Но, узнав, кто есть Вали-баба и его товарищи, сразу же потеряли к ним интерес, захандрили от безделья и обыденщины.

После коротких допросов и прогулок все остальное время они лежали, растянувшись на каменном полу, и было им тяжело даже рукой шевельнуть. Лица их, чуть загоревшие во время побега, снова стали серыми, а равнодушные глаза потускнели и ничего уже не выражали.

Здесь, в замке, при относительной свободе и при лучших условиях вдруг почувствовали они себя гораздо хуже, чем при строгом режиме в бараках. И все потому, что лишились главного — работы. Того, что отвлекало их, внося в существование хоть какое-то разнообразие.

Знали они по своему горькому опыту, что даже подневольный труд под палящим солнцем пустыни, сколь тяжким и изнуряющим он бы ни был, все же лучше, чем пустое времяпрепровождение в стенах замка.

А неважный тюремный психолог Вали-баба просто не до-

гадывался обо всем этом, наоборот: полагал, что сделал беглецам доброе, освободив их от каждодневной работы.

И был крайне удивлен, когда беглецы, все в один голос, потребовали, чтобы была им предоставлена возможность работать. Иначе, угрожали мошенники, они прибегнут к голодовке.

Вали-баба стал советоваться с Калиханом, не зная, какое дело им, уголовникам, предложить.

Конечно же, самым идеальным было бы послать беглецов на то время, пока они в замке, в бригаду строить мост.

Там, возле села на берегу, вырос уже целый палаточный городок. За то время, пока Вали-баба ловил беглецов, строителей понаехало около сотни, и все приступили к основному — строительству самого моста.

День и ночь шумела и плескалась вода, когда самосвалы сбрасывали на дно реки тяжелые камни, свистел молот, когда забивали сваи... Нет, это очень рискованно посылать туда беглецов — вольные люди сразу обратят на них внимание. А преступников для того и изолируют, чтобы не действовали они разлагающе на тружеников.

— Принести им ведра, пусть замок убирают, — распорядился Вали-баба.

И видел потом, с какой жадностью и как добросовестно подметали и чистили они дворы и коридоры — так же истосковались по работе, как истосковалась команда по службе в сторожевых башнях, хотя была между беглецами и товарищами Вали-бабы большая разница — вольные и подневольные.

Замок убрали быстро, всего за сутки — теперь он опять блестел, словно готовили для приезда комиссии.

Вали-баба же тем временем мучительно думал, что бы им еще предложить сделать полезное.

Его давно тревожил подкоп в баране, показанный Мусавым. Кроме того, что незаконченный подкоп в стене делал замок уязвимым, он еще и действовал на Вали-бабу, так ска-

зять, морально. Как напоминание о силе и уме беглецов и о слабости тюремной охраны, допустившей такое безобразие.

Есть, правда, еще одно дело, но, прежде чем начать его, требуется проверить, насколько оно стоящее.

Слышал Вали-баба, что давно, когда основали в замке колонию, приказали строителям покрыть стены трех главных его помещений слоем цемента, замуровать бывшие на них великолепные орнаменты и пейзажи старых мастеров, чтобы придать стенам надлежащий суровый вид.

А что если сейчас, не дожидаясь приказа, самим снять этот мрачный слой? К старому теперь возврата нет, колония ушла навсегда, значит, ждать больше нечего.

Но задуманное дело очень тонкое, рассудил Вали-баба. Нельзя вот так сразу ломать стены. А вдруг окажется, что разговоры о замурованных пейзажах пустые? Что никаких пейзажей никогда в замке не было? А если были, то их осторожно сняли и увезли куда-нибудь в музей?

Надо посоветоваться с Мусаевым, ведь работа со стенами, глиной и цементом — это по его гражданской специальности. Правда, каждое такое обращение к нему лишь поднимает беглеца в собственных глазах и работает, следовательно, против самого Вали-бабы, но выбора нет. Те двое беглецов просто бестолочи, годятся только на подсобные работы, а к Мусаеву придется идти на поклон.

Вали-баба понимал, сколь всесильными ни были бы они сейчас и как бы ни заставляли беглеца подчиняться законам и правилам, есть, к сожалению, вещи, в которых он чувствует свое превосходство, — значит, никогда нельзя забрать у него полностью свободу.

— Вот вам работа, — сказал Вали-баба, вызвав Мусаева. — Определите, есть ли в трех залах под слоем цемента какие-нибудь рисунки. Но сами стены пока не трогайте. Определите, так сказать... В общем не мне вас учить, инженера...

— Скажите, сколько мы еще пробудем в замке? — спросил беглец.

— А на что вам знать?

— Нет-нет, боже упаси, речь идет не о том, рыть ли еще один подкоп и бежать. Просто гнетет неопределенность положения...

— Не беспокойтесь, за вами приедут из колонии, — строго прервал его Вали-баба.

Мусаева после разговора повели в первое помещение, где находился служебный кабинет. Было оно овальным, просторным, с двумя нишами, которые служили вешалками для мундиров.

Мусаев постучал по стене в нескольких местах, прислушался, попросил разрешения снять со стены кусочек цемента.

Вали-баба вынул нож и демонстративно подал его беглецу. Тот лишь усмехнулся понимающе и принялся за работу.

— Какой-то дьявольский состав! — сказал он, снимая со стены крупницы покрытия. — Нужно же было догадаться ухлопать столько цемента! — говорил и тут же прислушивался к эху, какому-то странному, звенящему.

— Теперь вы скажите что-нибудь быстро! — приказал он Вали-бабе.

— Что все это значит? — не понял Вали-баба.

— Спасибо. Достаточно... Вы, наверное, ничего не услышали, ни как исказилось эхо, ни как оно зазвенело, и не поняли потому, как прочно сидит цемент... Ваши догадки о существовании старых орнаментов подтверждаются... Что еще?..

— Значит, рисунки есть?

— Кажется, я выразился ясно... Но потребуется умственный, ювелирный труд, чтобы очистить их. Поистине ювелирный труд!

— Вы бы взялись за него? — не приказал, а спросил от растерянности Вали-баба.

— Что за вопрос?! У меня ведь нет права говорить «не буду», хотя, сами понимаете, умственный труд требует соответствующего питания. А вы ведь бедны и можете раскошиться только на похлебку...

— Прекратите говорить глупости! — махнул рукой Вали-баба, которому уже давно надоела вся эта напряженная обстановка. — Нечего хныкать и жаловаться на судьбу. Сами виноваты...

Покричал на Мусаева, пожурил и ушел.

А тот, глядя ему вслед, подумал:

«Добрый мужик и сердится по-доброму, как отец. Смешной и жуткий...»

## 14

Работа по расчистке стенных пейзажей действительно оказалась ювелирной.

Кроме того, что верхний слой был очень твердым и его приходилось соскабливать, а не ломать кусками, угнетало еще и полное незнание расположения и размеров самих орнаментов, то есть в руках беглецов не было ни фотографий, ни копий того, что спрятано, а поиски вслепую требовали большого художественного чутья.

Вали-баба удивился тому, как быстро нашел Мусаев способ распознавания рисунков под глухим цементированным слоем. Распорядился он на каждой стене просверлить по десять-пятнадцать пометок, что-то вроде луночек на льду, чтобы обнажить края росписей.

И когда помощники его коснулись остриями ножей орнамента, Мусаев походил, посмотрел на разноцветные кирпичики, из которых рисунки были сложены, поразмыслил, затем сел, чтобы начертить на бумаге расположение, форму и размеры открытых пейзажей.

— Можете подойти поближе, — пригласил он Вали-ба-



бу. — Вам, жителю села, где стоит замок, хочется, конечно, все знать. Ведь вы удостоились чести жить рядом с национальной гордостью. Так знайте же, росписи, так старательно замазанные цементом, созданы не позднее шестнадцатого века, когда в орнаменте преобладали геометрические фигуры. И следовательно, человеку, изучавшему историю и из простого любопытства посещавшему всякие замки и мечети, не трудно воссоздать благодаря вот этим пометкам на стене точную форму невидимых росписей... А с этими чертежами, — продолжал он объяснять Вали-бабе, — совсем неопасно будет снимать потом верхний слой и показать вам работу старых мастеров неповрежденной, без единой царапины... Прошу прощения, повреждения могли появиться, когда замуровывали росписи, но это, как говорится, не наша с вами вина... Впрочем, зачем гадать. Начнем?

У Вали-бабы было теперь двоякое чувство к этому беглецу. С одной стороны, он восхищался им, хотя и понимал, что восхищаться уголовником непростительно. С другой — он старался одернуть Мусаева, а то и унижить его, ибо видел, что час за часом подавляется его внутренней свободой, а отсюда шаг до малодушия, ротозейства и потери бдительности.

Когда были составлены чертежи, а по ним с большой точностью расчищена часть стены, Вали-баба не выдержал и уединился с Мусаевым, чтобы вести разговор без свидетелей.

— Так за что вы все-таки сидите? — спросил он о том, о чем как-то забывал до сих пор узнать.

— Из любопытства спрашиваете, или..? — язвительно усмехнулся беглец.

Вали-баба взбесился, не выдержал, ударил кулаком по столу:

— По праву! Прошу не рассуждать!

И видел, что Мусаев нисколько не смутился, сказал голосом человека, который сожалеет об этом их разговоре:

— Оставьте свой начальственный тон. Я прекрасно знаю,

кто вы и для чего нас держите уже пятые сутки в замке. Чувствуете вы себя отлично в вашей роли — чего еще надо? А я принес бы вам больше пользы, если бы не отвлекался от работы...

Вали-баба молчал, потеряв разом все аргументы и всю свою прежнюю над ним власть. Кричать и бить кулаками по столу и в самом деле бесполезно.

— Вся ваша слабость в том, — торопился высказаться Мусаев, — что вы и неважный следователь и никудышный судья, а то, чему вы обучены, не годится в общении между людьми.

Вали-бабе ничего больше не оставалось делать. Он встал, чтобы отпустить беглеца, но при этом еще раз подчеркнул:

— Не забывайте, вы уголовник и не вам рассуждать!

Оставшись один, Вали-баба вызвал Калихана и распорядился урезать Мусаеву паек наполовину, чтобы не мнил себя слишком умным...

## 15

Вали-бабу теперь редко можно было видеть среди товарищей. Он сидел в своем кабинете и ждал. Ждал, что от большой умственной нагрузки и от малого пайка не выдержит Мусаев, надломится его гордыня и явится он к Вали-бабе с опущенной головой. И тогда можно будет простить его и вновь им командовать.

А в большом зале тем временем трое беглецов продолжали свою работу, добросовестно снимая с великолепных росписей старых мастеров чуждый верхний слой.

Мусаев ни с кем не делился тем, как несправедливо поступил Вали-баба, был по-прежнему предельно собран и внимателен.

Он все прекрасно понял, и мелкая месть человека, о котором он еще вчера думал, как о добром и смешном отце, тешила Мусаева и ничуть не злила.

Правда, половинный паек давал себя знать, и после десятичасовой работы кружилась голова, но ничего не поделаешь, если хочется оставаться самим собой и быть хоть чуточку независимым в этих труднейших условиях.

Почти каждый час Вали-баба вызывал Калихана и спрашивал, чем заняты беглецы и в особенности этот щупленький.

— Работают, — докладывал Калихан.

— А ты их подгоняй, чтобы быстрее кончали. Не давай ни минуты отдыха. И следи особенно за этим... умником. Заметишь малейшее нарушение — наказывай, лишай пайка полностью.

Калихан, мрачный, возвращался в зал и, сидя на табуретке у входа, не сводил глаз с Мусаева. Следил за каждым его движением, что откуда взял и куда положил и что как сказал. Следил он не скрывая, в упор, но Мусаева это ни сколько не смущало, каждый шаг свой он делал обдуманно, а говорил теперь изредка, по крайней необходимости, да и то короткими фразами, ни слова лишнего. Только раз, когда был снят цемент с красивого пейзажа, он забылся и тихо запел.

— Петь нельзя! — тут же прервал его Калихан.

— Это почему же? Петь лирические песни всегда разрешалось в колонии, — возразил Мусаев.

— Запрещено! — повторил Калихан без долгих объяснений.

Мусаев сразу умолк, поняв, что пререкаться бессмысленно, зато двое других беглецов зашумели недовольно.

— Ты тут, дядя, свои законы не устраивай. Везде одни единые законы, — набросились они на Калихана.

Тот встал и молча вышел, чтобы узнать все у Вали-бабы.

— Ну что там? Наказал? — встретил его Вали-баба.

— Пел он. А эти говорят, что петь можно.

— А о чем песня?

— О деревне, родной матери. Говорит, лирическая.

— Ладно, петь можно, — разрешил Вали-баба. — Песня

на пользу идет работающему. А что-нибудь другое ты заметил? Из ряда вон выходящее?

— Нет, все дисциплинированно, тихо.

— Ты сделай так, как я скажу. Ты его, Калихан, на какой-нибудь разговор вызови... Ну, к примеру, сядь там и тихо скажи, что я, Вали-баба, деспот, несправедливый человек, и отругай меня хорошенько. А ты, Калихан, не хотел ему паек срезать, сочувствуешь ему. И запоминай, что он в ответ будет говорить. В общем ты должен сделать так, чтобы наказать его как следует...

— А зачем вся эта хитрость? — засомневался Калихан. — Мы ведь можем просто взять и наказать беглеца любым наказанием. И никто потом в колонии, если они пожалуются, не осудит нас, скажут, действовали мы законно.

— Все верно, Калихан, — терпеливо втолковывал товарищу Вали-баба. — Не осудят... Но одно ты забываешь, мы ведь уже не на штатной службе. Мы просто рядовые граждане, строители моста. А рядовые люди должны между собой приличие соблюдать. Иначе не жизнь будет, а мука.

— Какие же это люди — уголовники?

— Пусть они не люди, хотя сам видишь, не каждый человек на свободе так мозгами работает, как этот Мусаев. Пусть так. Но зато мы люди, и это грешно забывать.

Услышав все это и удивившись — ведь никогда Вали-баба не говорил с ним на такие темы, когда речь шла об уголовниках, — Калихан ушел в зал продолжать слезку.

— Петь можно, — хмуро сообщил он, садясь на прежнее место.

Но у беглеца уже пропала охота петь, а эти двое, его помощники, поостыли и работали, как и прежде, с большой добросовестностью.

Вали-баба же, вновь оставшись один, думал, правильно ли он сказал все Калихану, что должны они приличие соблюдать в обращении с беглецами-уголовниками.

Здесь опять, с какой стороны подойти к вопросу. Те, кого они поймали и которые ждут сейчас приезда охраны из колонии, действительно обязаны соблюдать все строгие законы, а они, Вали-баба и его товарищи, должны все строить так, чтобы не чувствовали они свободы сверх того, что положено.

Правда, Вали-баба не судья и не имеет права определять меру нового для них наказания за побег, но подчиниться беспрекословно своим охранникам беглецы обязаны.

Но раз Вали-баба не судья и не следователь, значит, не имеет он права превышать свои полномочия и требовать, чтобы беглецы отвечали на его вопросы. И урезать незаконно паек безо всякой веской причины он тоже не имеет права.

Одно дело, когда копается в душе преступника следователь, а совсем другое, когда интересуется им рядовой человек, тут всякие нажимы и строгости исключаются. Все должно быть добровольно, на основе взаимопонимания... И если ты, пользуясь силой, а не правом, урезал паек и без того малый, то покривил душой, поступил против совести. И не думай, что скроешься с грязной совестью, всему свое время, и на все есть свой суд.

Размышления Вали-бабы снова прервал Калихан. Он зашел, чтобы доложить:

— Не поддается, мошенник. Слушает, как я ругаю вас, молчит. И улыбается, продолжая работу. Так мы его не возьмем, хитер больно...

— Отменить слезку. И выдавать ему снова полный паек. Но поступать строго, по закону. Никаких поблажек! — распорядился теперь Вали-баба.

**16**

К полудню через двое суток все три зала были расчищены, а Вали-баба приглашен на осмотр настенных пейзажей. Войдя в красочный зал, старший караульный был оше-

197

ломлен резким контрастом между общим унынием остального замка и яркостью этих трех его главных помещений.

Такое ощущение, что после долгого хождения по пустыне неожиданно попал в тихий, прохладный сад. Вали-баба даже чуть поежился, как бы от резкой перемены климата.

Объяснения давал Мусаев, и говорил он скупо и сдержанно, затаив всегдашнее красноречие.

Впрочем, объяснения его были излишни. И первый и следующие за ним два зала были расписаны небольшими по размерам, несколько однообразными пейзажами, и единственное, что в них подкупало, — это сочетание красок, самых фантастических, например ярко-красные деревья на фоне зеленой воды, хотя для привычного глаза все должно быть как раз наоборот.

Вали-баба из приличия молчал, смутно понимая, что, видимо, все должно быть так, как решили старые мастера. Зато Калихан, не выдержал и засомневался насчет цвета деревьев.

— Видите ли, друг мой, — объяснил ему Мусаев, — мастера тем были и велики, что не торопились передать свое первое впечатление от окружающего... Действительно, все должно быть наоборот, красной — река пустыни, а зелеными деревья. Но если поломать обыденное и не бояться показаться странным, то все выйдет гораздо сложнее, как у этих мастеров.

«Все это прекрасно, — думал Вали-баба, не слушая Мусаева, — справились. Молодцы. Но чем же теперь их занять? Вот горе... завтра же устроят голодовку. И будут правы».

Единственное, что теперь остается Вали-бабе, — это по-человечески поговорить с Мусаевым, объяснить ему обстановку.

Вечером беглец был приведен к Вали-бабе в кабинет.

Он лишь делал удивленные глаза, когда слушал старшего караульного, в душе же давно подозревал, что такой разговор состоится, ибо знал, что, кроме многих других, есть в си-

стеме Вали-бабы одна главная брешь, которую необходимо тут же использовать против него самого, а именно — неспособность караульных обеспечить беглецов работой в пределах замка.

Об этом он знал еще в самый первый день, когда их сюда доставили, думал, что все ограничится уборкой замка или еще какими-нибудь мелкими работами на полдня.

О росписях, конечно, не подозревал, потому и растерялся, но ребята справились за два с лишним дня.

— В замке работы больше нет, — сказал Вали-баба. — Я рассчитывал, что человек, посланный в колонию, сегодня к утру вернется, и мы сможем распрощаться. Но, видимо, у него захворала лошадь...

— Да, это не шутка отмахать сто двадцать километров на лошади по пескам, — согласился беглец. — Надо было вашему гонцу проплыть сначала километров двадцать по реке, а там шоссе, можно сесть на автобус до станции. А оттуда уже пять часов езды верхом до колонии.

— Вам легко говорить, — вздохнул Вали-баба, — вы все это знаете. А мы тут живем, отгороженные от мира вот этим замком и рекой. И не знаем, где станция, а где колония... Одним словом, работы больше нет. Прошу объяснить это вашим друзьям...

— Нет, нет, не принуждайте меня! — взмолился беглец. — Я не в силах прийти и сказать им: вас лишили главного в вашей барачной жизни — возможности забыться в работе.

— Тогда как же? Посоветуйте, как найти выход... Поймите, я никогда не думал, что мне придется быть для вас временно всем: и начальником колонии, и следователем. Я всего лишь скромный караульный, — растерянно говорил Вали-баба. — Я не могу полностью заменить вам вашу прежнюю жизнь.

Мусаев призадумался, потом развел руками, как бы со-

жалая, что Вали-баба действительно не может устроить им прежнюю жизнь в колонии со всеми ее правилами, и тихо, как бы все еще сомневаясь, сказал:

— Тогда, может быть, дать им взамен утраченного нечто другое? Ну, скажем, реже запирайте в комнатах, пусть побольше гуляют в замке.

— Что ж, разумно, — быстро согласился Вали-баба, — при условии, конечно, что никто не станет злоупотреблять свободой.

## 17

Теперь им предоставили возможность почти целыми днями прогуливаться в замке.

Беглецам разрешалось появляться во дворе, на гранитных дорожках между тремя главными помещениями и даже подниматься по железным лестницам на крепостную стену, к сторожевым башням, разумеется, под неусыпным наблюдением караульных.

Снизу, из села, их трудно было разглядеть, и строители до сих пор считали Вали-бабу и его товарищей пропавшими без вести.

Беглецы, а с ними и бдительные дозорные, свободно прогуливались по дорожке крепостной стены, заходили в сторожевые башни, смотрели оттуда во двор замка, на село за рекой, разговаривали подолгу, спорили, обсуждая сказанное как-то Мусаевым.

Беглый инженер, поднявшись впервые наверх, высказал мнение, что замок постепенно, миллиметр за миллиметром, уходит под землю, расшатанный близостью речных вод, и что в будущем, может лет через сто, земля полностью покроет его вместе со сторожевыми башнями.

— Чепуха какая-то! — засомневался Вали-баба, но Мусаев стоял на своем, утверждая, что интуиция инженера, имев-



шого дело с подпочвенными водами, подсказывает ему гибель этого мрачного сооружения.

— Смещение фундамента я заметил, еще когда копал здесь подкоп, поверьте мне! — спорил Мусаев.

— Но можно ли как-то спасти замок? — спросил озабоченный Вали-баба.

— Можно, конечно, если перенести его далеко в пустыню.

— А как же наше село? Ведь еще отцы наши и деды жили рядом с этим замком...

— Да, обидно, конечно, — согласился Мусаев. — Есть, правда, еще один способ, но он очень трудный и требует миллионных затрат, — это прорыть глубже подпочвенных вод тоннели и залить их железобетоном. Но это, повторяю, слишком расточительно и вряд ли селу вашему разрешат этим заняться.

После этого разговора Вали-баба погрузился, почувствовав усталость и равнодушие ко всему.

«Да... Вот и замок наш, оказывается, уходит. Теряем мы его», — думал он, понимая, что вместе с замком уходит многое из его жизни, привязанности и привычки, да и не только его, но и товарищей, всех жителей Гузара.

Уловив его настроение, Мусаев решил утешить Вали-бабу, сказал, что судя по всему, что делается сейчас вокруг, — тысячу раз справедлив закон обновления: вот замок уходит, а вместо него поставят здесь нефтяные вышки, соорудят мост и целый город, и будут остальные вышки стоять до тех пор, пока не истощится земля, ну, а там взамен родится еще что-то для будущих поколений...

— Верно, грандиозное дело затевается, — согласился Вали-баба, — повезло нашему захолустью.

Так говорили они, не замечая, что лед отчуждения постепенно тает и что проникаются они друг к другу большим доверием.

Видя, что беглецы прогуливаются по крепости и сидят, скрывшись от солнца в сторожевых башнях, забывал порой Вали-баба, что люди эти — подневольные, уголовники, да и думать об этом уже устал, мечтая, чтобы скорее приехали за ними из колонии.

Двое высоких беглецов продолжали злиться и ненавидеть людей Вали-бабы за то, что лишили они их вновь свободы, Мусаев же давно простил их, полагая, что, видно, так суждено, не они, так поймали бы их другие, свои караульные из колонии.

В сущности, думал он, эти люди лишь исполнители, плохо ли это, хорошо ли, но это их жизнь и психология, так их воспитали и обучили, среда влияла, близость колонии-замка.

Вале-бабе по-прежнему не терпелось узнать вину Мусаева. но теперь спросить об этом прямо, приказать, он не решался. Ждал и надеялся, что, может быть, беглец сам разоткровенничается, а если нет, то что поделаешь, пусть уносит с собой свою тайну в колонию.

Мало ли у людей тайн, и все их невозможно узнать. Разные встречались Вали-бабе люди: одни сами лезут, раскрывая душу, чтобы полегчало, а других надо заставлять говорить, но эти будут рассказывать только то, что им выгодно — не поймешь их...

Так смирился уже почти Вали-баба, и любопытство его притупилось, но надо же было случиться такому: Мусаев неожиданно согласился рассказать ему то, что утаивал и чего нельзя было вытянуть ни наказанием, ни строгостью.

Вначале они посмеялись, когда Мусаев вдруг вспомнил об урезанном пайке.

— Согласитесь, что это была не лучшая мера принуждения, — сказал он Вали-бабе. — Впрочем, откуда вам было знать, что я, подобно верблюду, могу приказать себе питаться самой малостью? И ничего. почти не страдаю.

— Я же, наоборот, люблю поесть, — признался от сму-

щения Вали-баба. — Много мясного и мучного. С перцем и разными приправами.

— Говорят, много — вредно, но я не поэтому ем мало. Умеренная еда обостряет чувства и делает человека жизнеспособным.

— Я как-то не задумывался над этим, — сказал Вали-баба, довольный тем, что неприятный их разговор об урезанном пайке принял столь невинный оборот.

Но Мусаев не думал успокаиваться и тут же напомнил Вали-бабе о другом случае:

— А ваш угрюмый стражник со своей слезкой и наивно проведенной провокацией — это уж совсем смешно и неожиданно!

Вали-баба помрачнел и махнул рукой.

— Ладно, не вспоминайте. Все действительно глупо. Превысил я свои полномочия, совесть запятнал...

— А все из-за желания власть показать.

— Да не столько уж власть, честно говоря. Хотелось мне узнать, что мог натворить такой человек, как вы, — тихо, с какой-то надеждой произнес Вали-баба.

— Ах, любопытство! Никакого злого умысла?

— Никакого, клянусь.

— Тогда слушайте, — просто согласился беглец...

## 18

— Дело мое выведенного яйца не стоит, — стал рассказывать Мусаев. — Более банального и скучного дела судам никогда прежде не приходилось разбирать, да и вам вся история покажется, наверное, маловероятной.

Был у меня товарищ по институту, тоже инженер, будем условно называть его — Васлиев. Инженер он, прямо скажем, никудышный, а больше известен в городе как спортсмен-бегун на дальние дистанции.

Было у меня в тот день неважное настроение. Я отправился в маленький винный погребок, чтобы посидеть там в прохладе возле бочек и пропустить парочку кружек сухого вина.

Сухое вино, как вы знаете, пустяк, если сидеть в прохладном помещении. Но стоит выйти на улицу, на жару, вас может с ума свести...

Так сидел я, боясь выйти на жару. Ждал вечера. И надо же было случиться такому: встретил я тут, в погребок, Василюва, с которым последние пять или шесть лет ни разу не виделся и только следил за его спортивными успехами по газетам.

Зашел он с чемоданчиком, какие носят обычно спортсмены, сел и попросил сухого вина. Был он мрачный, подавленный, как и я, и, встретившись, мы большую часть времени молчали.

— Не можешь ли ты проводить меня? — вдруг спрашивает Василюв. — Мне что-то не по себе.

— Как видишь, я тоже не очень весел, — говорю я ему полусуто.

— Вот и прекрасно, мы не будем друг другу докучать.

Сказано — сделано. Мы покинули прохладный погребок и вышли на улицу.

Было пять часов вечера — время, когда жара дает себя знать особенно сильно.

Предвечерняя жара, она ведь еще и подавляюще действует на психику. И вот через каких-нибудь десять минут мы настолько потеряли над собой контроль, что стали смеяться громко над всякими пустяками, становясь немного агрессивными.

Так мы оказались на белом пустом стадионе.

Василюв сел на траву, открыл чемоданчик, и я увидел там несколько серебряных и позолоченных кубков, какие обычно присуждают победителю на крупных соревнованиях.

— Сейчас я покажу тебе, как я бегаю, — сказал Василюв.

ев нервно, поглядывая на эти кубки. — Признайся, ты ведь ни разу не видел этого зрелища?

— Ни разу, — признался я. — Я как-то далек от спорта.

Тут он почему-то слишком засуетился, беря из чемоданчика то один, то другой кубок и не зная, на каком остановиться.

Наконец он протянул мне один из кубков и сказал:

— Иди и стой у финиша и держи на вытянутой руке кубок. И жди меня...

Меня все это как-то очень занимало: действительно, почему бы не посмотреть, как он бежит, и не постоять, как судья, на финише с кубком? И секундомер у него был.

Я пошел и стал возле финишной черты с кубком в руке, а Васлиев побежал с другого конца стадиона, решив преодолеть, невзирая на жару, пятьсот метров. Впрочем, интерес мой сразу пропал, стоило мне постоять под солнцем считанные секунды. И то время, пока Васлиев бежал по дорожке стадиона, казалось целой вечностью.

Только потом, на суде, я узнал, что пробежал он свои пятьсот метров за какие-то там секунды и впервые в жизни побил рекорд своего всегдашнего соперника — чемпиона республики Саакова, но, естественно, теперь ему победу никто не засчитал.

Добежав до финиша, он с какой-то злостью выхватил из моих рук кубок и тут же упал на траву, тяжело дыша — выдохся от перенапряжения.

— Черт возьми, — прошептал он, лежа, весь бледный, — всем движет случайность... Чистая случайность.

Назойливое повторение одного и того же слова и вообще все его поведение относил я за счет жары и выпитого сухого вина, а также общей подавленности его настроения.

Сам я тоже чувствовал себя прескверно и предложил Васлиеву пойти в парк искупаться.

— Я, видно, неважно бегал, — сказал он. — Впрочем, не один ты так считаешь...

В парке я купался в озере, а он сидел на берегу на чемоданчике, ни на секунду не расставаясь со своими кубками.

А когда я, немного придя в себя, вышел из воды, то обнаружил Василева спящим мирно под грибком.

Я хотел было разбудить его, но вид спящего человека расслабил меня, и я тоже задремал, сидя рядом с приятелем.

Проснулись мы оба одновременно и были уже совсем не пьяны, да и жара спала.

— Мне не хочется возвращаться домой, — грустно сказал приятель.

Я видел, что ему все так же тяжело, и мне ничего не оставалось делать, как пригласить его к себе.

Так совпало, что жена моя с дочерью уехали за город к родственникам и мы были одни в квартире.

И тут же, к своему ужасу, обнаружили, что чемоданчик с кубками потерян, и от волнения и досады мы не можем вспомнить, где его оставили.

Позже, на суде, один из свидетелей утверждал, что, пока я купался, Василев выбросил все кубки в воду, но версия эта не подтвердилась — водолазы, обшарив дно озера, кубков не нашли.

Одним словом, кубков не оказалось, и я бы легко перенес эту потерю, если бы Василев вдруг не признался, что кубки были им украдены сегодня утром у знаменитого бегуна, когда тот пришел к ним на какой-то прием.

— Бог праведный! — вырвалось у меня от растерянности. — Да как это ты догадался?!

— Если судить здраво, то кубки эти должны принадлежать мне, — хладнокровно заявил Василев.

Мы провели с ним какую-то кошмарную ночь.

По рассказам Василева я понял, что он давно уже нена-

видит этого спортсмена, следит за каждым его шагом и изучает его со всех сторон.

На последних пяти крупных соревнованиях спортсмен, будем называть его Сааков, всегда оказывался впереди Васи́ева, завоевывая первые места и кубки.

В чем же дело?

Изучая физические данные Саакова, методы его тренировки, характер соперника, его выносливость, волю, колебания веса, условия его жизни, быт, его наклонности и даже вникая в такие тонкости его натуры, как наследственность, количество и виды перенесенных им и его родителями болезней и многое другое, Васи́ев пришел к выводу, что он, в сущности, почти ничем не уступает Саакову и даже превосходит его по структуре организма, перенесшего на две болезни меньше, чем организм соперника.

Сааков, как говорится, был у него под микроскопом, разложенный полностью, и все же, как правило, он всегда выходил победителем. Везение? Скопление случайностей?

Как быть? Что же такое поломать, чтобы не быть всегда вторым спортсменом?

За день до этого Сааков, прилетевший из столицы, вновь выиграл кубок, а так как он имел странность носить с собой везде свои награды, то оказался с чемоданчиком на дружеском вечере по случаю победы.

Васи́ев сидел недалеко от соперника, не сводя глаз с этого злополучного чемоданчика. И когда Сааков на минуту отлучился, приятель мой вышел с чемоданчиком и скрылся, решив таким образом отомстить первому спортсмену республики.

История эта показалась мне в высшей степени неприглядной; хотя я понимал душевные переживания приятеля, он все же резко упал в моих глазах.

В отличие от судьбы я, конечно, не считал его вором.

Мне важно было сейчас понять до конца Васи́ева, как

понял он когда-то Саакова, отделить в нем доброе от дурного. И убедить его кое в чем, ибо до сих пор считаю, что словом можно делать истинные чудеса, если, конечно, его произносят в добрых целях. Вспомните народную мудрость: «Сначала было слово...»

Я сказал Василю, что всякий человек, желающий достигнуть высот, должен прежде всего избавиться от дурного в себе.

А в приятеле своем я обнаружил много дурного. Во-первых, я доказал ему, что то, что он называет стремлением честно побить противника на соревнованиях, есть обыкновенная мелкая зависть и честолюбие — пороки недалеких людей.

И еще я рассказал Василю все, что думал о его теории случайности. В случайности проявляется закономерность, и исключения для одного человека, тем более спортсмена, побеждавшего его неоднократно, быть не может — это выдумки и самоутешение.

— Тогда почему он впереди? — кричал Василю. — Суди и его, если ты честен. Или победителей не судят?!

— Судят, да еще как! Построже, чем вас, побежденных. Только я ведь о нем не знаю.

Так сидел я, говоря ему жестокую правду и желая, чтобы он задумался.

Тем временем рассвело. В дверь постучали — это пришла за нами милиция.

На суде потом выяснилось, что в тот день, когда мы лежали с кубками по стадиону, а потом купались мирно в парке, в городе начался ажиотаж. Шутка ли, у знаменитости, у гостя украли среди бела дня победные кубки.

Почти у каждой знаменитости, как вы знаете, особенно у артистов и спортсменов, есть масса поклонников и поклонниц. И слухи, которые они распускали, их негодование — все это сильно повлияло на судьбу.



Возможно, Васлиев отделался бы годом тюрьмы, а меня и вовсе не посадили бы.

Но со всех сторон раздавались требования судить вора и того, кто его укрывал, со всей строгостью закона. А наша местная газета не удержалась, и еще задолго до судебного разбирательства поместила статью, где строчка за строчкой доказывала нашу виновность, и тоже требовала от имени спортивной общественности и многочисленных любителей легкой атлетики наказать пьяных хулиганов.

Честно признаться, мне тогда и в голову не приходило, что я укрываю вора. Передо мной сидел человек, которому, как я, может быть, наивно полагал, надо объяснить многое, что творится в его душе.

Я не знал, что обычно в таких случаях без долгих разглагольствований (это слова судьи) преступника сдают в ближайшее отделение милиции, и делу конец. И что перевоспитанием его займутся потом в исправительно-трудовой колонии люди, которым это поручено по долгу службы.

Каюсь, над всем этим я как-то не думал в ту ночь!

Не знаю, что бы я делал утром, если бы за нами не пришли: может, продолжил бы свои беседы, а может, простился бы с ним, убедившись, что это ему не помогло... Впрочем, помогло бы, я уверен! Не сразу, так через много времени. Ведь помогли же вам моя выдержка, моё упрямство, Вали-баба, признать, что и вы были не правы, когда незаконно лишили меня пайка и установили за мной слежку, дабы спровоцировать еще большие осложнения. Помогло же, верно?..

Мне кажется, что мы, люди, очень скоро растеряем все ценное, если будем друг к другу равнодушны. Вы согласны со мной, Вали-баба?..

**19**

Вали-баба молча встал и долго потом прохаживался по крепостной стене, поглядывая на унылый двор замка.

Да, отношение его к беглецу принимало теперь новый, более драматический поворот. Можно ли все рассказанное Мусаевым принять на веру, думал Вали-баба. И можно ли забыть о побеге? Если Мусаев не скрыл чего-нибудь такого, что представляло бы его в невыгодном свете, можно прийти к печальному выводу, что с ним поступили сурово.

Тогда как же быть ему, Вали-бабе, если судья все же признал того виновным? Если он не учел истинных, благих намерений Мусаева, когда тот продержал у себя всю ночь спортсмена, укравшего кубки?

Суд велик, и авторитет его работников для Вали-бабы всегда был неоспорим. А как же иначе? Ведь с судом и законом была связана вся его служба в колонии, все долгие тридцать лет жизни.

Он просто не допускал мысли, что судья может принять ошибочное решение и что закон, на который тот опирается, не всегда может учесть всю сложность человеческой природы, все понятные и скрытные движения души того, кто сел на скамью подсудимых.

И вдруг Вали-баба сталкивается с человеком, деяние которого, если отнестись формально, можно признать уголовным преступлением, а если же в нем разобраться, заглянув глубоко в душу, можно признать моральным и человеческим. Вот какое противоречие! И оно теперь угнетало Вали-бабу.

Но, может, все-таки есть нечто, что скрыл от него Мусаев? — искал утешения Вали-баба. Но тут же думал: а какой ему в этом смысл, беглецу?

Ведь Вали-баба не судья и не начальник колонии, от которого зависит восстановление доброго имени Мусаева; он рядовой человек, просто строитель моста, волей обстоятельств стерегущий Мусаева в замке.

Нет, конечно, он не может рассчитывать ни на снисхождение, ни на помилование, ни на какую другую выгоду — Вали-баба человек неофициальный. И Мусаев это прекрасно

знает. «Ведь он долго не делился со мной, — вспоминал Вали-баба. — И рассказал лишь тогда, когда понял, кто я есть. Я простой человек, — внушал самому себе Вали-баба, — я ничего не могу решать. У меня нет ни власти, ни силы отменить приговор... Теперь понятно, почему он с таким упорством рыл эти свои подкопы, зная, что имеет право на свободу... Одержимый, фанатик...»

Но что же ему ответить? Вали-баба знал, что он ждет какого-нибудь ответа, ведь не зря же рассказывал.

«Проклятый день!» — впервые затосковал Вали-баба, вспомнив, как настигли они беглецов на горе.

Казалось, все так просто и не надо ломать голову. Все было просто до этого дня: служба, караулы, ночные игры в домино. И даже мост, даже уход колонии не переживался так остро.

Вали-баба молча подошел к сторожевой башне, где сидел и смотрел на реку Мусаев... Постоял, потоптался на месте.

— Я все слушал... Получается, если так подумать, можно сказать, что вы в той истории не виновны, — был ответ Вали-бабы.

Сразу бросилось в глаза, как он побледнел и как испугался собственных слов. И как не в силах был больше выдержать взгляда Мусаева! Повернулся и быстро сошел вниз по лестнице.

С той минуты он заперся в своем кабинете и не выходил больше ни к своим товарищам, ни к беглецам.

Молчаливый по натуре, он еще больше ушел в себя, занятый невеселыми размышлениями.

И Калихан, только Калихан, которого Вали-баба пускал к себе, заметил, как буквально за день старший караульный осунулся и похудел, и лицо его стало серым, как у сидящих в колонии.

— Что случилось? — пытался узнать верный Калихан. Но Вали-баба всякий раз прогонял его без ответа. Было

похоже на то, что старший из караульных добровольно заточил себя в одиночной камере, в то время как уголовники-беглецы прогуливались на свободе в стенах замка.

Вали-баба теперь просто боялся показываться на глаза Мусаеву. Ведь признав его невиновным, он по логике вещей должен освободить его из-под стражи и отпустить на все четыре стороны. Да, все верно, так надо.

Надо?

А побег, а освобождение уголовников — это как? И даже если освободить — сделать это должен тот, кто признал его виновным, судья — человек официальный, а не Вали-баба.

«Я человек рядовой, — все говорил себе Вали-баба, — у меня нет прав ни осуждать, ни снимать с людей вину. Я строитель моста...» Говоря так, он боялся, однако, поймет ли это Мусаев, — поэтому прятался.

Но Мусаев все понимал. Он слишком хорошо успел узнать, кто есть Вали-баба, на что он может решиться и чего никогда не допустит. Понимал все и ничего не ждал, да и тогда, когда рассказывал, рассказывал просто, чтобы утолить любопытство старшего караульного. И даже не думал, что Вали-баба вдруг поймет его невиновность.

Услышав признание Вали-бабы, он лишь благодарно посмотрел на него, и все. И теперь, даже если Вали-бабе пришлось бы в голову из чувства справедливости освободить его, не передавая караульным из колонии, людям официальным, Мусаев все равно не согласился бы принять свободу из рук Вали-бабы. Этим бы он поставил старика в очень трудное положение, но делу не помог бы...

**20**

В это последнее утро неожиданно налетел ветер. Ясный белый день стал желтым, и солнце как бы растворилось в песчаной туче.

Пустыня, видно, долго терпела, накапливая в себе энер-

гию, но теперь не выдержала, закружилась в вихре, пугая зверье и людей.

У строителей сорвало много палаток, унесло вниз по течению их лодки, а сама река, не успевая поглощать нефтяные пятна с песком, задыхалась и вышла из берегов — только сваи будущего моста остались нетронутыми, видно забитые на совесть.

Разорив многое на берегу, вихрь понесся к замку и первым делом сорвал с крепостной стены мягкий, набухший от весенних дождей слой, оголив камни и норы ящериц.

Залетел в пустые сторожевые башни, поиграл на славу железными прутьями, как играют отчаянно на органе, а потом засыпал все желтым песком.

Оттуда песок посыпался вниз, во дворы замка, на лестницы и переходы, захлопали и застучали двери и окна, и горячая струя воздуха, залетев через люк и через щели в воротах, подула сквозняком по темным коридорам, выветривая барачный запах.

Вся эта игра природы длилась не более минуты, затем ветер вздохнул где-то в стороне и ушел высоко в небо, забирая у земли самую малость — листья, пух одуванчиков и верблюжью колючку.

И караульные и беглецы пережили все это, спрятавшись в главном помещении замка.

А когда вышли наружу, то не узнали замка. Был он весь какой-то угловатый, оголенный, без четких переходов и линий, засыпанный песком и камнями. Как исчезнувший средневековый город, который успели расчистить только в общих чертах, а детали еще лежали скрытыми от глаз.

— Заставим их убрать замок? — пришел к Вали-бабе с вопросом Калихан.

— Не сейчас, — махнул рукой старший караульный. И, взглянув на серое, пыльное лицо Калихана, дал указа-

ние: — Приведи-ка себя в порядок. Сегодня должны прибыть из колонии.

Интуиция не подвела Вали-бабу и на этот раз. Не успели караульные и беглецы почистить одежду, вымыть лицо и руки, как послышался над рекой шум вертолета.

Строители, занятые починкой палаток и рабочего снаряжения, подумали, что это летят к ним из города, чтобы узнать о последствиях сильного вихря. И стали махать касками и кричать, показывая, где удобнее всего приземлиться пилоту.

Но вертолет, пойдя на снижение, полетел дальше к загадочному замку, сделал круг над сторожевыми башнями и опустился во дворе на мягкий песок.

Вали-баба видел из окна, как открылась потом дверца машины и как вышли сначала двое караульных с карабинами, а за ними и сам начальник караульной службы тоже при оружии, с пистолетом.

Удивляясь, начальник поглядывал на пустой двор, на молчаливый замок, не понимая, почему их не встречает Вали-баба. Караульные ходили вокруг него, крадучись и держа карабины наготове.

Начальник, нахмурившись, подозвал одного из них и что-то приказал, видимо искать Вали-бабу.

Больше всего Вали-бабу заботило сейчас другое: куда делся один из его товарищей, Нури, посланный неделю назад в колонию. Но вот и Нури вылез из вертолета, бледный и шатающийся. Он плохо перенес полет, а теперь сел на песок, чтобы прийти в себя.

Начальник наклонился к нему, видимо приказывая присоединиться к караульному, чтобы начать поиски Вали-бабы, но Нури махнул рукой, не в силах стоять на ногах.

Чтобы не слишком затягивать церемонию передачи беглецов, Вали-баба вышел со своими товарищами во двор.

— Куда же вы пропали, Вали-баба? — начальник бро-

сил ся пожимать ему руку. И, всматриваясь в каждого, кто подходил к нему, спрашивал: — А где же эти, уголовники?

Видя, что начальнику не терпится улететь обратно из засыпанного песком замка, Вали-баба приказал Калихану вывести беглецов.

— Все трое здесь? — спросил начальник, вынимая список и читая: — Ну ров, Мусаев, Парпиев...

— Все трое, — сказал Вали-баба и отвернулся, посмотрел на сторожевые башни.

Начальник тоже посмотрел на башни, но, увидев, что беглецов выводят из помещения, сказал Вали-бабе:

— Они здесь, Вали-баба, внизу... Сажайте в вертолет, — приказал затем караульным.

А сам засуетился, доставая из чемоданчика коробки с подарками.

— Это вам, — передал коробки Вали-бабе, — десять именных часов. За хорошую службу.

Это был уже пятый подарок, те четыре тоже за хорошую службу. Беглецов тем временем посадили в вертолет и захлопнули за ними дверцу.

— Ну, кажется, все сделал, — остановился начальник, вспоминая. — Беглецов проверил, именные часы передал... Да! — вспомнил он главное и, подойдя к Вали-бабе, дружески взял его за локоть.

— Послушайте, Вали-баба, не хотели бы вы вернуться опять в колонию? Я бы взялся ходатайствовать...

Вопрос его, хоть и несколько неожиданный, не застал Вали-бабу врасплох. Он знал, что могут так спросить. И поэтому ответил не раздумывая:

— Нет, спасибо, начальник. Мы уже строители моста. Со старым покончено... — А сам подумал, что не сможет уже, наверное, быть таким, как прежде, караульным, а служить без особого рвения, без души на такой работе никак нельзя.

— Ну, смотрите! — огорчился начальник. — Для вас в колонии всегда место найдется. Вы караульный что надо!

— Спасибо, — поблагодарил Вали-баба за доверие, и пока начальник шел по песку к вертолету, думал, как бы ему поточнее выразиться, поубедительнее, чтобы не показаться неправым.

Заметив, что Мусаев и двое других беглецов смотрят на них через стекло вертолета, Вали-баба остановился и чуть позже, чем надо было, сказал:

— Начальник, у меня есть просьба. — Вертолет уже зашумел, и остальное Вали-бабе пришлось прокричать: — Мне кажется, начальник, что один из них сидел без вины. Слышите меня, невинный...

— Который? — услышал в ответ голос начальника.

— Мусаев. Ученый инженер. Прошу разобрать...

— Разберемся, — пообещал начальник. — Во всем разберемся. Пусть не волнуется.

Довольный своим разговором с начальником, Вали-баба поднялся на лестницу, чтобы лучше видеть, как вертолет взлетает.

Затем бывшие караульные побежали к сторожевым башням, но вертолет поднялся выше башен и замка и взял курс в сторону безводной пустыни.

Долго стояли Вали-баба и товарищи возле башен и спустились вниз, когда вертолет с беглецами стал уже невидим для глаз.

— Убрать и почистить замок, — приказал на прощание старший караульный.

А к вечеру, когда замок был чист, команда снова долго шла по темным коридорам, возвращаясь на свою главную теперь службу — к мосту.

Выйдя за ворота, они тщательно, тремя ключами, закрыли их.



Вали-баба оглянулся на замок и вздохнул, как бы желая напоследок насытиться его воздухом, сказал:

— Ну, кажется, все...

Да, все, пусть замок теперь тоже живет своей новой жизнью, а если ему суждено уйти под землю вместе со сторожевыми башнями, что ж, пусть уходит — образ его надолго останется в памяти...



## Об авторе

Прежде чем открыть дверь и войти в дом, задержимся на пороге и вспомним: что же мы с вами знаем о Тимуре Пулатове?

Наверно, большинство читателей впервые слышат это имя.

Бухара, где родился в 1939 году Тимур Пулатов, с давних времен была разноплеменным, многонациональным городом. Еще до революции здесь, в столице Бухарского ханства, жили и таджики, и узбеки, и туркмены...

В семье Пулатовых говорили то по-таджикски: на языке Фирдауси, Омар-Хайама, Саади; то по-узбекски: на языке великого Навои. Так с детства Тимур сложился «истым бухарцем», человеком многоязычным. Позже, с годами обучения, в жизнь Тимура вошел и русский язык. Вошел и овладел всеми помыслами: с его помощью Тимур приобщился не только к русской литературе, но и к мировой; в русском переводе прочел лучшие книги французской, английской, немецкой, американской и других литератур. На этом языке разговаривали с ним Гарсия Лорка, Сент-Экзюпери, Камю, Хемингуэй, Пабло Неруда, Ярослав Гашек, Бертольд Брехт, Ремарк, Мицкевич, Лев Толстой и Антон Чехов, Михаил Шолохов и Эммануил Казакевич. И произошло естественное: он горячо полюбил русский язык, научился думать на нем; окончил Бухарский педагогический институт, стал преподавать русский язык в школе, а вскоре написал свою первую повесть «Не ходи по обочинам» — написал по-русски.

Явление это не такое уж редкое. Рустем Кутуй, сын классика татарской литературы Адила Кутуя, пишет по-русски. И армянин Леонид Гурунц. И азербайджанец Анар. Наверно, это закономерно, когда писатель желает выйти за рамки национальной, пусть даже очень древней культуры и говорить с современниками, с людьми разных наций, но живущими в одно время и на одной планете.

Первую повесть Тимура Пулатова московские журналы печатать не стали: она повторяла не раз использованный, стертый, как старая монета, сюжет: студент-узбек полюбил русскую девушку, но против их брака восстали родные, соседи, знакомые. Долго и трудно борются за счастье молодые люди... Наверно, и этот сюжет можно было бы решить свежо и ярко, если б Тимур Пулатов отошел от известного литературного стандарта, смелее обратился к живой жизни; в конце концов, он и сам пережил такую драму... Не ему ли и рассказать о ней?

Но начинающему писателю чистый лист бумаги кажется скользким, как лед впервые надевшему коньки!

Первая повесть Тимура Пулатова не вошла в эту книгу, что лежит перед вами. Эта книга открывается второй по времени повестью Тимура Пулатова «Окликни меня в лесу»: о маленьком Магди, его маме Норе, отце Акбаре и «дяде» Эркине. Как и первая, повесть «Окликни меня в лесу» написана еще под отчетливым влиянием литератур западных, в число которых для бухарца невольно включается и русская литература. Магди — а всю повесть «Окликни меня в лесу» рассказывает семилетний мальчик Магди — говорит об очень сложных человеческих отношениях и характерах гневно, горячо и наивно, многого еще не понимая, но верно угадывая сердцем. И оттого, что речь Магди поневоле отрывочна, пунктирна, читателю предоставляется возможность обдумывать и дорисовывать рассказанное.

Повесть «Окликни меня в лесу», напечатанная в Москве в 1966 году, принадлежит к ранней поре творчества молодого писателя. Шли годы, и Тимур Пулатов менялся. «Второе путешествие Каипа», опубликованное в журнале «Дружба народов» в 1969 году,

уже свидетельствует о возмужании, росте автора. Сдержаннее, немногословнее сделался стиль... Глубокие воды всегда спокойнее сумасшедших горных рек! И за немногословием ощущаешь значительность размышлений о жизни и смерти, о поступках и суждениях людей, философичность, свойственную литературам Востока. Не ту западную нравоучительность восемнадцатого века, не те холодные аллегории, моральные сентенции и ходячие истины, справедливость которых, по выражению В. Белинского, «все признают... но которые всем надоели и никого не убеждают». Нет, Тимур Пулатов как бы подхватывает и продолжает, только максимально притушив и спрятав, переведя на уровень сбивчивых и часто наивных размышлений героя, философскую традицию живых бытовых рассказов «Гулистана» Саади. Впрочем, сегодня рассказы Саади, написанные семьсот лет назад, выглядят довольно примитивными. И говорить здесь следует не о подражании, даже не о влиянии, а лишь о продолжении традиции, о врожденной склонности молодого бухарца к размышлениям над пестрым потоком жизни.

В своем новом качестве, в пору литературного возмужания, Тимур Пулатов достигает местами поразительной силы впечатления. Когда читаешь о том, как старый рыбак Қайп скитается на лодке по капризному Аральскому морю, изборожденному течениями и водоворотами, невольно вспоминаются страницы из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Вспоминаются не по сходству положения, не по стилистическому подражанию, которого нет и в помине, а по сходству характера рыбака, что не мешает Қайпу оставаться узбеком.

Думается, что молодой писатель уже обрел свой настоящий голос. Голос, подобного которому нет в многонациональной советской литературе. А в конце-то концов именно «лица не общим выражением» и начинается настоящий талант. Конечно, Тимур Пулатов только начал свой литературный путь. Впереди немало ждет его и цветущих долин, и крутых перевалов, и песчаных пустынь, и высокогорных ледников, и бешеных рек Тяньшаня. Ведь, в сущности, лежащая перед вами книга — это первая книга молодого

советского писателя, рожденного в Бухаре, но уже вылетевшего на просторы всесоюзные, пишущего для всех, кому доступен русский язык.

Быть может, кое-где Тимуру Пулатову еще не хватает жизненного опыта, и оттого иные ситуации представляются слишком условными, а рассуждения героев — неоправданно наивными. Но нельзя забывать, что повести Тимура Пулатова романтичны в самой своей основе, автор стремится не к фактографической точности, но к обобщенному и оттого немного условному образу. А кроме того, и намеренно иной раз делает своих героев наивными, простодушными, рассуждающими вкривь и вкось, например, о том, откуда берется и куда уходит человек, почему древние мастера изобразили деревья красными, а воду реки зеленой, и еще о многом другом... В отличие от восточных авторов древности он не спешит наставлять и поучать, не дает прописей и рецептов. Нет, Пулатов как бы приглашает читателя порассуждать, поразмышлять вместе с героями, с чем-то поспорить, над чем-то посмеяться, а что-то, быть может, и признать.

И в этом, пожалуй, самая существенная особенность книги. Только не надо полагать, что за каждым утверждением героя стоит сам автор. Ну разве мыслимо нашего современника, ученого педагога и писателя всерьез отождествлять с жителем пустыни Валибабой из повести «Сторожевые башни» (1969 г.) или ветхим рыбаком Каипом?

Настала пора переступить порог!

А когда закроете книгу, и подумаете, и поспорите с автором и друг с другом, напишите дружеское письмо Тимуру Пулатову, чтоб помочь, поддержать, посоветовать.

*Вадим Лукашевич*



# СОДЕРЖАНИЕ



Окликни меня  
в лесу . . . . . 5



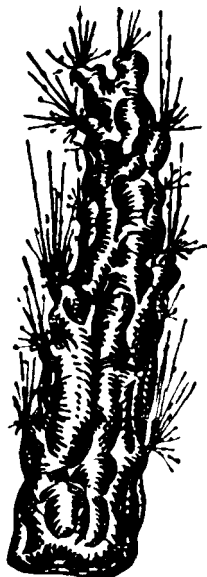
Второе путешествие  
Каипа . . . . . 95



Сторожевые  
башни . . . . . 149



Об авторе . . . . . 218



*Пулатов Тимур*  
ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАИПА. Романти-  
ческие повести. М., «Молодая гвардия», 1970.  
224 с., с илл.

С(узб)2

Редактор *С. Шевелес*  
Худож. редактор *Н. Коробейников*  
Техн. редактор *Г. Петровская*

Сдано в набор 5/II 1970 г. Подписано к печати  
6/VII 1970 г. А00700. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага  
№ 2. Печ. л. 7 (усл. 9,8). Уч.-изд. л. 10,6.  
Тираж 65 000 экз. Цена 32 коп. Т. П. 1970 г.,  
№ 311. Зак. 128.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-  
дия». Москва, А-30. Сущевская, 21.